

4 (Рис-411) 2
п 55

ПАВЛОДАР
ЛИТЕРАТУРНЫЙ



ЮРИЙ

ПОМИНОВ

ПОМНЮ
И ЛЮБЛЮ...

84(РК-40) 2
155

ЮРИЙ ПОМИНОВ

ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ...

Павлодар

Тривиум

1993

2/3

-470370 ✓

Павлодарская областная общественная библиотека	06
---	----

ПОМИНОВ Ю. Д. Помню и люблю... - Павлодар, Триумф, 1993 г.

В книжку Юрия Поминова вошли рассказы о детстве, о людях, с которыми его свела журналистская судьба, короткие новеллы о ярких мгновениях жизни, лирические зарисовки о природе.

*Художник
Виктор Поликарпов*

© ИП "Триумф" 1993 г.

Там, где осталось детство

ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ

I

Мою бабушку по отцу звали Мария Петровна. Родилась она еще в прошлом веке, запомнила название деревни - Новое Красивое Село в Ефремовском уезде Тульской губернии. Так что, вполне возможно, в детстве она могла видеть самого Льва Толстого...

В начале нашего века, в пору великого переселения, бабушка вместе с родителями оказалась в Сибири. Ее память хорошо сохранила это время, а более всего то, как она девчонкой жила в услужении у купцов Красноусовых. О тех годах бабушка всегда вспоминала едва ли не благоговейно - похоже, то была самая счастливая пора в ее недолгом отрочестве. Хотя насколько я теперь могу судить по ее стародавним рассказам, в той ее "красивой" жизни хватало всякого. Одной из ее многочисленных обязанностей было сеять муку. Красноусовы требовали, чтобы это делалось на самом мелком сите, муки надо было много, а рабочее место - холодные сенцы... В студеные зимы девчоночьи руки, по бабушкиному определению, "заходились" и отказывались держать сито. Она пыталась хитрить, меняя сито на более крупное, но тут же была поймана. "Ах ты, дрянь паршивая!" - всякий раз говаривала хозяйка, будучи сильно недовольна прислугой. Но зато никогда не била, непременно подчеркивала бабушка, давая понять, что недовольство было заслуженным, и всегда вспоминала о подарках, которыми Красноусовы одаряли ее на Рождество - о цветном полушалке, поношенной кофточке, кулечке конфет и связке баранок.

В 16 лет бабушку выдали замуж и службу пришлось оставить - Красноусовы держали в прислугах только девочек и незамужних девиц.

Революция, как таковая, в бабушкиной памяти не сохранилась (на все расспросы она отвечала "не знаю" и всякий раз пыталась уточнить - "это когда царь Николай отрекся?"). Зато ей хорошо запомнилась гражданская война и приход анненковцев (она говорила "анненков отряд"). Всех сочувствующих советской власти они вывели в лес за деревню, изрубили шашками, и, распоров им животы, набили их зерном - ешьте, краснопузые.. Моего деда, впоследствии председателя здешнего Совета, среди казненных, к счастью, не оказалось - бабушке чудом удалось его спрятать в заброшенном колодце...

Коллективизация навсегда впечаталась в бабушкину память незамысловатой деревенской частушкой:

Иванов, Иванов,
Как твои делишки
Отобрал у нас коров -
Плачут ребяташки!

Иванов был сподвижник деда - организатор первого колхоза, обобществивший весь деревенский скот. Ну а плакали в ту пору по этому поводу, как мы теперь хорошо знаем, не только ребяташки.

У деда с бабушкой уже к времени анненковского рейда было двое детей. Потом родят еще двенадцать. И все это время будут уходить из жизни - в младенчестве, детстве и совсем взрослыми. Маленьких уносили корь и скарлатина, над взрослыми будто злой рок витал...

Дочь Сару в неполные четырнадцать лет задавила грузовая машина - одна-единственная на всю округу.

Сыну Сергею шел девятнадцатый год. Он был красавец, искусный спортсмен-гимнаст. Вся деревня сбегалась посмотреть, как он "крутит солнце" на турнике. Однажды сорвался, ударился головой о тыльную землю. Отлежался, думали - обошлось... А он поехал в Новосибирск и заболел в дороге. Сняли с поезда на одной из станций. Там он и умер в больнице, не приходя в сознание. Где похоронен - неизвестно... Плакивая его, бабушка уходила в лес, чтобы никто не видел и не слышал, и кричала, пока оставались силы и голос.

Никита был глухонемой. Любимец всей деревни, добрая душа, лучший работник в колхозе. Зарезали корову, начали подтягивать ее к перекладине, чтобы освежевать. Перекладина переломилась, а Никита оказался прямо под ней... Стал жаловаться на голову, потом слег. Как-то бабушка с дедом собрались еще затемно на базар и объясняют ему это на пальцах. Он в ответ показывает: возвращайтесь быстрее, а то я умру сегодня - как солнце встанет. И в самом деле - на рассвете умер. В 27 лет.

Федор был на год младше Никиты, уже женат. Молотили зимой пшеницу. Федор работал наверху, развязывал снопы, загружая их в молотилку. Его нечаянно толкнули, и он упал головой вниз. Болел, продолжал работать. Однажды совсем занемог - даже к завтраку не встал. Пришел бригадир звать его на работу, он попытался подняться и не смог... В тот же день скончался.

Виктор, 27 лет, утонул в озере Чаны. Вот как это было. Они - несколько молодых мужиков - оказались на неокрепшем льду. Поднялся ветер и стал ломать лед. Они бросились к берегу. Виктор почти добежал, когда услышал крик из полыньи: "Не бросай, брат!" Вернулся. Протянул товарищу ружье, вытащил его на лед. Тот снова провалился, увлек за собой Виктора и уже

не дал выбрать, ему самому... На берегу все это наблюдали человек двадцат, но помочь они ничем не могли. Виктор с товарищами утону в конце октября, а нашли его только в мае. Он на удивление хорошо сохранился, а бабушка одно время в эту пору начала заговариваться.

Бабушка пережила и оплакала тринадцать из четырнадцати своих детей. И еще мужа, без которого она прожила больше сорока лет. Последним бабушка хоронила моего отца, единственного из детей, прошедшего войну и вернувшегося после победы живым и невредимым... Теперь осталась лишь младшая дочь, моя тетка, которую бабушка родила в 46 лет.

II

У меня с бабушкой сложились особые отношения. Мне теперь трудно судить, почему так вышло, но факт остается фактом: чуть ли не с трехлетнего возраста она всюду таскала меня за собой. Несмотря на свой возраст она недалеко, во много ездила, и я побывал вместе с ней на некогда знаменитом Купинском базаре, где она когда-то торговала своей несравненной чубаровской ряженкой; цепенел от страха, катался на моторке с каким-то ее родственником по неоглядному озеру Чаны; совершил первое в жизни самое дальнее путешествие по железной дороге в Красноярск, а оттуда в Дивногорек, где буквально в двухстах-трехстах метрах от ее комнаты в обычном городском доме начиналась самая что ни на есть дикая тайга с настоящим буреломом, жарками и черемшой, чем-то напоминавшей наш дикий чеснок...

Жаль, что воспоминания о тех поездках сохранились бессвязные, отрывочные. Куда лучше помнятся наши похождения за грибами...

Тогда (да и теперь) моторизованные грибники устремлялись как можно дальше, а бабушка, наоборот, промышляла только в окрестных лесах. Бывало, отогнав в стадо корову, часам к шести утра она возвращалась с грибной добычей в завязанном сверху узлом переднике, и я просыпался уже под неповторимый аромат грибной похлебки.

Мне хорошо известно, что сегодняшней грибник привередлив: ему подавай непременно белые, подосиновики, грузди. А бабушка уважала гриб всякий. И для каждого у нее находилось свое собственное название. Она не брезговала почти сплошь ныне презираемыми хрупкими сыроежками, именуя их краснушками, синюшками и чернушками, в зависимости от того, какой цвет преобладал на шляпке. Волнушки она звала волнушками. Валуи, в зависимости от "сорта", елюнявыми (их желтые, бледно-розовые или коричневые шляпки были покры-

ты слизью) либо скрипцами (определение удивительно точное - не только крепкая ножка упруго скрипела при срезании, но и потом сам гриб, когда его раскусываешь в готовом виде). Одну из разновидностей сухих степных груздей бабушка называла белянками. Они и впрямь были изумительно белыми, а отдельные экземпляры - даже с легкой голубизной, которая, впрочем, нисколько не портила вид гриба, скорее придавала ему особое очарование. Найдя первую белянку средних размеров, бабушка разрезала ножку на несколько колец и, бережно уложив шляпку в ведро, кольца беспечно отправляла в рот.

- Ты что, отравишься! - испугался я, увидев подобное впервые.

- Как же, - засмеялась она и отломилла мне кусочек, - попробуй лучше.

Я с опаской пробовал - и тут же выплевывал: сырой гриб мне решительно не нравился. Но бабушка, впрочем, и не настаивала.

Подберезовики у бабушки были обабками, шампиньоны - их мы собирали прямо в поле через два-три дня после дождя - печерицами. Нечасто, но попадался и влажно тяжелый изжелта-бледный, реже молочно-восковой, ворсистый, настоящий сырой груздь... Бабушка почему-то говорила "грузд" (без мягкого знака) и начинала священнодействовать: сразу не рвала, ставила ведро, начинала оглядываться... Мы с ней тщательно исследовали все пространство вокруг, особенно бугорки под приподнявшимися прошлогодними листьями, и чаще находили еще три-четыре груздочка, а если улыбалась удача - то и с десяток...

Любопытно, что не всякий червивый гриб бабушка выбрасывала. Очень часто, обнаружив единственную норку, оставленную в корне или шляпке нашим расторопным конкурентом, бабушка как-то очень ловко вырезала испорченные фрагменты, а оставшуюся часть гриба забирала. Иногда виновник этой хирургической операции, бледно-розовый червячок с красной головкой, обнаруживался сам. Бабушка небрежно выковыривала его, а гриб брала, объясняя:

- Ничего, это костяничник - он не вредный.

... Через час-полтора с полным ведром, а повезет - то и с довеском - узелком из передника, отправляемся домой. Тут всякому грибу находится применение: сыроежки пойдут на суп, обабки будут изжарены, а их корни отправятся на сушку; белые (они у нас водятся не каждый год) годятся и на суп, и на жареху, и на сушку, и на маринад; ну а уж грузди после первой очистки будут отмокать в воде - потом мыться и чиститься, а потом долго лежать в рассоле под гнетом...

Немного походил я с бабушкой за грибами, а страсть к этому тихому промыслу сохранилась на всю жизнь. И меня, давно

городского жителя, не удержат дома, едва только промелькнет слух о том, что кто-то где-то видел, а тем более рвал первые грибы.

III

Бабушка была верующей. Она знала все главные православные праздники, раньше всегда постилась, на пасху обязательно пекла куличи и красила яйца. Носила простенький крестик, была у нее и икона. Я одно время все допытывался у нее: как это понять - Христос воскрес. Она, как могла, объясняла: нехорошие люди распяли его на кресте (подробности распятия она опускала и, понимаю теперь, не случайно). А как пришло время его хоронить - он оказался живой и показал пришедшим крашеное яичко - отсюда, мол, и обычай - яйца красить.

Впрочем, находясь в нашей сугубо атеистической семье, бабушка никогда не делала никаких попыток приобщить нас, своих внуков, к Богу. Наверное, понимала всю бесперспективность этого занятия.

Бабушка была неграмотной. Учиться ей вовсе не довелось, и она с трудом печатными буквами могла писать свою фамилию. Но как хорошо она говорила! Она говорила - как пела. Это был чистый, живой, не замусоренный никакими суррогатами и заимствованиями язык, какого теперь почти не встретишь.

Мне не раз приходилось видеть бабушку рассерженной, но никогда не слышал из ее уст ругани (хотя ее муж и мой дед, Петр Петрович, которого я совсем не помню, наоборот, был страшным матерщинником). И когда живущая по соседству женщина "заводилась" на пьяного мужа:

- И чтоб тебя три грозы гремучих разбили! И чтоб тебя какая-нибудь корючка закорючила! И чтоб ты издох... - бабушка просто пугалась - по ее понятиям это значило гневить Бога. Крайнюю степень недовольства у нее самой выражала фраза, которую мне ни от кого больше слышать не доводилось...

- Кишки-т-твой перемотайся!

Или - реже:

- Кишки-т-твой лопни!

Но ни первое, ни второе, как правило, никому конкретно не адресовалось, а носило отвлеченный характер.

Бабушка знала не только свою ближайшую, но и всю дальнюю родню: кто и кем кому доводится, кто на ком женат и кто за кем замужем. Было в высшей степени любопытно слушать, как они изъяснялись с моим отцом, называя подчас диковинные, ничего мне не говорящие фамилии, связанные тем не менее в некую стройную систему. Чаще всего упоминались Поминовы, Дрездовы, Чурсины. Но были еще Чубаровы, Даничкины, Кострикины, Шукайловы и великое множество дру-

гих... Звучали названия деревень, ласкающие слух: Чубаровка, Лягуши, Чаинка, Сергеевка, Мальково, Чумашки... Путешествия отца с бабушкой по густым ветвям нашего генеалогического дерева, как правило, заканчивались разладом: на каком-то этапе оказывалось, что кто-то из них кого-то забыл, что-то напутал и им приходилось возвращаться в исходную точку...

Когда бабушка вела долгий рассказ, она время от времени делала недлинные паузы, сопровождая их характерным "да-а". А когда касалась какой-то очень больной темы, заканчивала неизменным "и-эх - жизни!" и надолго замолкала, отрешенно глядя в одну точку.

Ее руки умели все на свете. Она прядла, вязала и шила. Долгими зимними вечерами я любил сидеть на скамеечке у ее беспрерывно жужжащей прялки и наблюдать простой и одновременно непостижимый процесс превращения бесформенных клочков шерсти из кудели в прочную шерстяную нитку, которая несколько дней спустя становилась уже моими носками или варежками. Я до сих пор помню ее тончайшие, как кружева, таявшие во рту блины. Она умудрялась испечь хлеб в нашей отнюдь не приспособленной для этого дела домашней печке. Она учила меня лепить пельмени с фигурной бахромой... Она делала ароматную, густую, с коричневатой пенкой - вкуснейшую ряженку. Чубаровская ряженка - так грубовато-нежно поддразнивал бабушку мой отец. И все мы знали, что он имеет в виду. Именно так когда-то зазывала бабушка покупателей на базаре в Купино, где торговала ряженкой. И этот ее чубаровский (по названию деревни) товар всегда пользовался спросом и разбирался очень быстро. Случалось, продав свою ряженку, бабушка выручала соседей, выдавая их продукт за собственный...

Поразительно, что люди это до сих пор помнят. Недавно разговорился со своей городской знакомой. Вдруг оказалось - мы земляки, а сама она из Купино. "Ну, а мои родители из деревни по соседству, - сказал я, - из Михайловки". "Так это теперь Михайловка, а раньше называлась Чубаровка, - возразила она, - ее жители торговали у нас на базаре ряженкой, так помню и кричали - чубаровская ряженка, чубаровская ряженка!"

... Нет теперь ни ряженки, ни того базара. Да и сама Чубаровка, то бишь, Михайловка, дышит на ладан...

IV

До 96 лет бабушка жила одна, в своей избушке, сама управлялась по хозяйству. Моя городская квартира, где она провела последние годы жизни, откровенно тяготила ее. Но она крепилась, не показывала вида. Пережив всех своих сверстников, она до последних дней сохранила ясный ум, острую память

и поразительный интерес к жизни. Не изменяла своим привычкам: нюхала табак и требовала на Рождество рюмку водки вместо предлагаемого ей фужера вина.

Умерла бабушка 14 декабря 1988 года, лишь нескольких недель не дожив до 98 лет и не доставив нам, ее родным, почти никаких хлопот.

ДЕД ТИМОФЕЙ И БАБУШКА АКУЛИНА

Хорошо помню деда с бабушкой по материнской линии. Дед Тимофей - высокий, кряжистый, строгий. Бабушка Акулина - маленькая, крупная, добрейшая душа.

В их молодости бабушку не хотели отдавать за деда. Выдали за другого, из соседней деревни. С мужем бабушке не повезло - он сильно ревновал ее, обижал. Однажды в приступе ревности привязал ее, беременную, к оглобле и рысью погнал лошадь. Была зима, бабушка обморозила колени, а через несколько дней родила мертвого недоношенного ребенка.

Родственники забрали ее к себе. Дед снова заявил отцу о своем желании жениться на ней, но тот почему-то не разрешил. Тогда уперся дед - пять лет не женился, пока ему, наконец, не позволили взять в жены желанную...

Все это я знаю со слов матери, хотя она не любит вспоминать о своем детстве. Было их, детей, пятеро, она - старшая. Колхозную жизнь дед не принял, крепким единоличником тоже не стал: жила семья беднее бедного. А когда началась Великая Отечественная, и деда призывали, вовсе стали голыми-босыми. На всю семью были одни валенки. Мать, отправляясь изредка в зимние вечера к подружкам, чаще всего надевала на ноги дедовы лохмашки - что-то вроде рукавиц из собачьей шкуры...

Так и жили - едва с голоду не пухли. В 14 лет мать пошла работать в колхозную бригаду поварихой. Готовила на шестидесят человек - одна. Зато там хлеб был, и бригадир нет-нет - да и ухитрялся сунуть потихоньку краюху: "Вези, Тоньк, своим". Брали, потому что "свой" хлеба почти всю войну не видели: сестры мал-мала меньше, бабушка - не работница, все время болела... Иногда удавалось тайком прихватить зерна в карманах - граммов 600-700... Бабушка знала про это, плакала... Говорила: "Поймают тебя - повенчусь". Как раз в ту пору двум колхозным девчонкам, чуть постарше матери, принесшим домой зерна, дали - одной шесть, другой - восемь лет. Счет был простой: по году за каждый килограмм. Мать Бог миловал...

Письма от деда приходили очень редко - он, как и бабушка, был неграмотный. Когда война кончилась, никто из родных даже не знал - жив ли дед...

Когда он вошел в дом, бабушка упала без чувств. Остальные - будто онемели. Дед спрашивал мою мать: "Что же ты, дочь,

ничего не говоришь?" А она никак не может в себя прийти. "Вот, - отвечает, - на базар собралась, фуфайку покупать, денег 1200 рублей скопили..." "На, - говорит дед, - возьми мою..." Он в фуфайке пришел.

Такая была встреча. Служил дед на Дальнем Востоке и единственное, что привез с собой, - чемодан китайского шелка. По тем временам дорогой товар, который можно было выгодно продать. Но бабушка на радостях нашла из него детям платьев. Очень красивых платьев, которые через несколько недель "полезли" - дорогой шелк совсем не годится для повседневной носки.

Мать считает, что этот случай, как никакой другой, характеризует и деда и бабушку, не сумевших распорядиться даже этим единственным богатством, попавшим в их руки. Иногда она в сердцах называла деда с бабушкой неудельными, то есть людьми, лишенными практической сметки, или в нашем привычном понимании - не умеющими жить... Впрочем, это не мешало матери относиться к своим родителям с величайшим уважением и почитать их до самой смерти.

Судя по рассказам матери, жили дед с бабушкой тихо, незаметно. Никогда не скандалили. Правда, тут скорее всего бабушкина заслуга - она ни в чем не перечила деду, позволяя себе лишь изредка незаметно посмеиваться над ним. Правда, и он ее не обижал. Однако случалось, возвратясь домой изрядно навеселе, будил среди ночи: "Вставай, Акульк!" - "Ну, чего тебе?" - "А давай песни поиграем!" Значит, надо было вставать и петь с ним песни, что она и делала, вероятно, ругая при этом деда в душе последними словами. Любопытно, что и сам он, будучи трезвым, никогда не пел.

У деда с бабушкой, в небольшой - в одну длинную улицу - сибирской деревне Чубаровке я провел не одно лето. И память хорошо сохранила их всегда чисто выбеленную избушку с плоской пластяной крышей и глиняным полом (раз в неделю бабушка его обязательно мазала); наполовину вросшую в землю крошечную баньку; ветхий сарай с крутобокой коровой и обязательным ласточкиным гнездом на столбе, державшем крышу сарая; нежнейшую траву-мураву, расстилавшуюся от самого порога, и огород с цветущей картошкой, сбегаящий вниз, к пересыхающему озеру... Помню немудреные бабушкины угощения, вкусный терпкий запах дедова самосада - он сам растил табак, рубил в деревянном корыте, сушил.

Мне кажется, и для них то были не самые худшие годы. Дети выросли, худо-бедно определились, вот уже и внуки наезжают на лето. Наверное, мы им, оставшимся вдвоем, нужны были в ту пору не меньше, чем они нам... Но и мы вырастали и все реже навевывались к ним, не понимая, как дорог им каждый такой приезд...

Бабушка умерла первой. Умирала в страшных муках - последние несколько месяцев не вставала с постели, плакала, просила, чтобы мать отравила ее, избавила от мучений... Как все же несправедлива бывает судьба к человеку: в своей жизни бабушка видела очень мало хорошего - неужели она хотя бы легкой смерти не заслужила?

Оставшись один, дед не захотел пойти ни к кому из детей. Жил сам. Утром выходил из дома, садился на завалинку, встречая и провожая всех проходивших мимо. С кем-то перебрасывался одной-двумя фразами, с кем-то просто здоровался. Ему этого было достаточно, чтобы ощущать себя дома, на своей земле.

Умирал он тоже тяжело. Мать, в очередной раз приехав проведать деда, застала его уже при смерти. Начала тормошить: "Пап, это я, Тонька, мы с Нинкой (сестрой) приехали..." Он чуть приоткрыл глаза и с усилием выдохнул: "Приехали... Что ж смерть мою не привезли..."

Глаза оставались открытыми, но в них уже ничего нельзя было прочесть: они как будто были обращены не в мир, как прежде, а внутрь себя, в неведомое.

Эти последние строки записаны мною со слов младшего брата, который видел деда в последние минуты жизни и помогал матери, другой родне, односельчанам его хоронить.

В ПЕРВЫЙ ПАР

За свою еще не слишком долгую, но уже и не столь короткую жизнь мне довелось побывать в приличном количестве бань. Были среди них многообразные русские, финские и даже одна турецкая, были бани общего пользования и семейные; случалось и в "номерах" бывать... А помнится более всего наша собственная, домашняя...

Отец наш страстно любил попариться, а приличной парной в целинном совхозе, где мы жили, не было (впрочем, и теперь еще нет), вот он и загорелся идеей занять свою собственную баню.

Место под нее определили на задворках усадьбы, в огороде. Выкопали яму размером метра три на четыре. Нарастили пластынные стены - примерно на один метр от земли, наложили сверху березовых жердей, укрыв их опять же пластом; соорудили крохотное оконце - почти на уровне земли - и собственно "здание" оказалось готово. Внутри выкопали еще одну яму - для стока воды, настелили пол, соорудили полук, лежать на котором взрослый человек мог, лишь подогнув колени. Примерно четверть бани занимала печь, сложенная из кирпича. Полукруг-

лый свод ее состоял из тех же кирпичей, да из бутового камня - это была еще и каменка. Слева в углу стояла большая кадушка с водой. Чтобы вода была погорячей, использовалось весьма своеобразное средство. На печи всегда специально нагревались два отслуживших свое гусеничных трака. Когда они накалялись докрасна, их бросали в кадушку.

Был еще небольшой предбанник: углубление перед баней, прикрытое от ветра то ли рубероидом, то ли еще чем-то.

Придирчивый читатель может не без ехидства спросить: а не забыл ли я про такую небольшую деталь, как труба? Но в том-то и дело, что никакой трубы в нашей бане не полагалось. Наша баня топилась по-черному: дым выходил не в трубу, а в дверь. Не знаю уж, почему баня была именно такой (вероятнее всего, такую оказалось проще соорудить), знаю лишь, что популярностью в округе она пользовалась чрезвычайной. От желающих посетить баню отбою не было. Вполне возможно, впрочем, что причина крылась не в каких-то особых ее достоинствах, а в том, что большинство наших соседей и такой не имели.

Банный день зимой - целое событие. В субботу после обеда мать затапливает баню березовыми поленьями. Мы, ребяташки, заняты подвозкой воды. Надо наполнить кадушку, в которой не меньше четырех-пяти фляг, затем трехведерный бак для холодной воды, почти такой же - для особо горячей... Нужен еще и резерв... В перерывах между поездками (воду возили из колонки) каждый раз проверяем, как горит печь. Поначалу дрова занимаются неохотно, в настывшей за неделю бане полно дыма, несусветный холод. Но мало-помалу огонь набирает силу, и вот уже дым весело валит из двери, стелется по заснеженному огороду.

Часа три топится баня, прежде чем мать, лично убедившись в том, что печь прогорела, а оставшиеся в ней угли уже не испускают голубоватого свечения, бросает призывный клич:

- Ну что, архаровцы, кто в первый пар?

Первый пар - не для слабаков. Обычно это привилегия отца. Иногда он берет меня с собой, и я этим горжусь. Мать вручает нам по стопке чистого выглаженного белья, по полотенцу, и мы отправляемся... Я в валенках на босу ногу, в трусах и в пальтишке на голое тело - бегом не замерзну.

И вот баня принимает нас в свое разгоряченное чрево. Все в ней дышит сухим зноем с ароматами дымка, березового веника, раскаленных камней, горячего дерева... Воздух так напоен зноем, что кажется густым, осязаемым; кажется, его можно потрогать руками. Сразу опалает уши, перехватывает дыхание, ощущение - вот-вот затрещат волосы. Не выдерживая, я тут же присаживаюсь на пол - тут хоть дышать можно.

Отец, довольно побряхтывая, доводит до кондиции березовый веник, обдавая его в тазу кипятком и держа затем в горячей

воде. Потом он не спеша взбирается на полку и, полежав с минуту, начинает легонько охаживать себя веником - грудь, плечи, спину... Моя задача - быть наготове, чтобы в нужный момент поддать жару. Я уже зачерпнул ковшик горячей воды и жду сигнала, по-прежнему сидя на полу. Мне жарко, но я креплюсь - нельзя показывать слабость.

- Давай полковника! - командует отец. Я, чуть-чуть привстав, плескаю из ковшика на раскаленную каменку. Она как будто взрывается в ответ, и я сразу бросаюсь на пол, чтобы не изжариться заживо в этой встречной волне, заполняющей все уголки небольшой бани. Впрочем, волна достает меня и на полу, поэтому я опускаю лицо в таз с холодной водой.

Чувствую, и отца, однако, достало: веник утих, а с полка доносится протяжное: "А-а-а-а-а..." Впрочем, это продолжается всего несколько мгновений, потом слышу веник: сперва шуршание, потом легкое похлопывание и наконец настоящий хлест... Минуты через три снова следует команда "поддать", и я опять плескаю из ковшика на каменку, которая огрызается не менее злобно, чем в первый раз; и баня вновь наполняется невыносимым жаром. А отцу жарь вообще хоть бы что: правда, он парится лежа, но хлещет себя еще неистовей.

Успокаивается он лишь после того, как я поддаю в третий раз. Слезит с полка, голышом выходит на улицу и с минуту упоенно катается по снегу в огороде. Я с опаской наблюдаю за ним через едва приоткрытую дверь и вижу, что эта процедура доставляет ему неопишное удовольствие.

После купания в снегу отец отдыхает несколько минут в предбаннике, а затем вновь забирается на полку... И все повторяется снова. Правда, жар, как мне кажется, становится помягче, и каменка уже не взрывается в ответ на мои "поддавания", а недовольно фыркает...

Наступает мой черед париться. Поскольку сам я этого пока не умею делать, отец укладывает меня на полку и устраивает веником "легкую экзекуцию". Сначала я терплю, потом начинаю орать благим матом, что на него никак не действует, и я получаю свою дозу здоровья с известной долей принуждения.

Зато потом мне тоже позволено недолго постоять в предбаннике и самому ощутить, с какой благодарностью принимает разгоряченное тело столь желанную прохладу. Эту телесную радость, это непередаваемое блаженство в состоянии оценить лишь тот, кто его пережил.

Моемся мы с отцом наскоро, без малейшего усердия. Наши расслабленные, напоенные легкой, приятной усталостью тела требуют покоя и отдыха.

ТАЛИСМАН

Впечатления детства - самые яркие. И подчас - самые неожиданные: с течением лет забываются события, казавшиеся в пору их свершения наиважнейшими, а какая-нибудь мелочь, пустячок из детства помнятся всю жизнь...

В четвертом классе мне делали операцию аппендицита, в участковой больнице, за два десятка километров от нашего совхоза. Конечно же, я отчаянно трусил, но меня согревала и успокаивала одна-единственная мысль: пока я в носках — все должно быть хорошо. Дело в том, что утром мать помогала меня собирать в больницу и сама надела на меня носки. И вот потом, оставшись один, я внушил себе: раз носки на мне, я по-прежнему связан с ней, и, значит она со мной, рядом...

Когда за мной пришли на операцию, меня тревожило только одно: надо будет снимать носки или нет? Для меня это был вопрос жизни и смерти.

Разумеется, носки пришлось снимать...

Операция была без наркоза, но помню ее плохо: прикосновение к животу чего-то металлически холодного, укол... Затем перед глазами окровавленный червяк с белыми вкраплениями внутри — аппендикс — его мне показал хирург...

Все это время в мозгу билась одна и та же мысль: носки, ведь я снял их ненадолго, они еще хранят прикосновение материнских рук, главное — побыстрее их надеть.

От операционной до палаты я шел сам. Едва добрался до кровати — взялся за носки.

— Ты что, с ума сошел? — рванулась навстречу сопровождавшая меня сестра.

Но, к счастью, она опоздала: носки уже были на мне.

... Почти тридцать лет минуло с того времени, и как же жаль порой, что нет у меня теперь такого заветного талисмана, который так же, как тогда, мог бы придать уверенности в трудную минуту, подарить надежду...

КУСОЧЕК СЧАСТЬЯ

Студеное зимнее утро. Матовое солнце равнодушно висит над горизонтом: светит, но не греет. Мороз пробирает до костей, и я начинаю приплясывать, чтобы хоть как-то согреться...

Мне одиннадцать лет. Я жду открытия библиотеки. И для этого есть весьма существенный повод. Все библиотечные детские книжки, умещающиеся на одной единственной полуметровой полке, я давно перечитал, а вчера был завоз — сам помогал таскать. И вот дожидаюсь библиотекаря, а она, как назло, не торопится.

— Ты чего тут мерзнешь? — слышу наконец знакомый голос.

— Вас жду, — отвечаю я обрадованно.

— Так я сегодня новые книги не выдаю — их зарегистрировать надо, — мимоходом замечает она и, бросив взгляд на мою закоченевшую фигуру, добавляет, — ладно, заходи — хоть погреешься.

Заходить после всего услышанного не хочется, но надежда еще теплится во мне, и я через темный коридор пробираюсь за ней в тесноватую, всего из двух комнат, библиотеку.

Доставленные вчера книги сложены на двух столах и рядом с ними. Среди них и желанный том, который я еще вчера заприметил. Из-за него и торчал на морозе, ожидая библиотекаря.

Она успела раздеться и теперь усаживается за стол, поднимает ко рту покрасневшие ладони, дышит на них. Я по-прежнему стою у двери. Жду, пока на меня обратят внимание.

— Вообще-то не положено, — она говорит, будто сама себе возражает, — но ладно уж — вчера таскал, сегодня мера... Какую тебе?

— Вот эту! — нужная мне книжка где-то в середине стопки. И пока библиотекаря извлекает ее, сердце у меня замирает: вдруг ошибся — и книжка не та, ведь ворошить всю грудку заново она, конечно, не будет.

— Гайдара? — вопросительно-утвердительно спрашивает она.

Та! Я торопливо киваю.

Она записывает название в мою потрепанную, со вкладышем, карточку, почему-то громко именуемую читательским формуляром. Я мигом расписываюсь и на рысках устремляюсь домой.

Я еще не знаю, что там, в книжке, но душа моя сладостно поет в предвкушении чтения. Это потому, что Гайдар мне немножко знаком: «Р.В.С.» прочитал сам, «Чука и Гек» слушал по радио...

...Мое любимое место — в спальне у окна. Сквозь заледеневшие двойные стекла пробирается солнечный свет и уже чуть-чуть греет. Синяя с шершавинкой обложка приятно холодит пальцы. Стараюсь не спешить, открываю плотно спрессованные (еще никем не тронутые!), слегка потрескивающие страницы, читаю название — «Дальние страны»...

Проходит какое-то мгновение, и я погружаюсь в удивительный мир, бесконечно загадочный и далекый, и вместе с тем такой мне близкий и понятный. Я растворяюсь и плыву в нем — вместе с его героями...

Тепло, тихо, уютно. Прекрасные мгновения — слагаемые детского ощущения счастья — многогранного и многоликого.

ФЕДЯ ПОПОВ

Воскресное утро. Вся семья в сборе, сидим за столом. Мать напекла пирогов, и мы их уплетаем за обе щеки. Нас, детей, четверо да двое взрослых — и большая, с горкой, эмалированная чашка быстро пустеет.

— Ну, вы даете, — смеется отец. Он в хорошем расположении духа и непрочь поговорить. — Как Федю Попова — не накормить.

— Какого Федю? — мы уже почти сыты, а потому не прочь и послушать.

— Да был у нас в деревне мужик — Федя Попов — так всего раз в жизни наелся.

— Ну да?! — изумляемся мы хором. — А как же он жил?

— А так и жил — все время голодный: все садятся за стол, и он садится, все встают, и он встает. А сам никогда не наедался. Раз мужики говорят: «Федя, можешь килограмм сала съесть?» Он говорит: «Могу, только с хлебом». А все вместе только что из-за стола встали — пообедали. Принесли сала, свещали на безмене, булку хлеба нашли...

— И съел?! — восторгаемся мы.

— Съел — и хоть бы хны. Мужики говорят: «А еще можешь?»

— «Могу, — отвечает, — только попить дайте сначала». Ну, они плюнули с досады и ушли...

— Ты ж говорил сначала, что наелся, — не унимаемся мы. Рассказ нас страшно заинтересовал.

— А это в другой раз, на базаре, было. Раньше, знаете, какие базары в больших деревнях были! По воскресеньям отовсюду народ собирался — не обязательно купить там или продать, а пошататься, поглазеть... Из нашей деревни мужики тоже приехали, и Федя Попов с ними. Ну, выпили по шкалику и ходят по базару. А раз выпили — почудить охота. Видят один мужик пирожки продает. Подошли. «У тебя с чем пирожки?» — «С картошкой». — «Сколько?» — «Было сто, четыре вот продал, девяносто шесть осталось». — «Давай на спор, что наш мужик все твои пирожки сейчас съест!» — «За раз?» — переспрашивает продавец. «Ну, да, прямо здесь». — «А на что спорим?» — загорелся тот. «А на что хошь!» — «Давайте так, — предлагает продавец, — если съест, тогда ничего не платите, а если хоть один не съест, за все, что съел, платите вдвойне». — «Ладно, согласны, — говорят мужики. — Давай, Федя, ешь от пуза и не подкачай, брат!» А тому — только дай. Ему эти пирожки — как нам вареники. Ну, а с другой стороны подумать: шутка в деле — такую прорву умять. Съел он пятьдесят штук и говорит мужикам: «Боюсь, братцы, не совладать со всеми... Уплотим за энти, пока не поздно». Те — ни в какую. Спектакль же может сорваться, да и денег жалко. «Ешь, — говорят, — Федя, насыщай свое чрево, другого раза, может, и не будет». Он дальше ест.

Штук двадцать осталось. «Все! — заявляет. — Сытый. Спасибо, больше не хочу». Мужики видят — дело плохо, стали уговаривать: «Поднатужься, браток! Да такому, как ты, двадцать пирожков — да это ж раз плюнуть!..» Уговорили. Съел все до последнего.

— Все девяносто шесть? — ужасаемся мы. — И не лопнул?!

— Не подумал даже. Тот, что без пирожков остался, напоследок заругался: «Утроба, говорит, твоя нечеловеческая, в бога тебя и в душу!..» А Федя его спрашивает: «А ты в другое воскресенье еще сюда приедешь?..»

Казалось бы, пустячный разговор, шутка — а до сих пор помнится.

КАК СВИНЬЮ РЕЗАЛИ

Надо было резать свинью. Но, оказалось, некому. Отец сам не может, я студент — тем более. Позвали на помощь соседа — застенчивого заикастого Витьку и собственно «забойщика» — дядю Колю с соседней улицы. Дядя Коля — громадный, заросший с головы до ног рыжим волосом, волосы растут у него даже на пальцах рук и из носа.

Договариваемся, как будем действовать.

— А, чего там, — небрежно бросает дядя Коля, — придержите — да и все.

При этом он любовно трогает большим пальцем лезвие огромного, сантиметров на тридцать, тесака и добавляет:

— Не тушуйтесь, мужики, от меня еще ни одна не ушла.

Долго ловим свинью, она отчаянно визжит, пока мы ее валим на дощатый настил сарая. Нервы у всех напряжены до предела, а дядя Коля не торопится.

— Чух, чух, чух, — приговаривает он и чешет свинье за ухом.

Что он делает потом, я не вижу, слышу все заглушающий пронзительный визг...

Когда свинья перестала дергаться, дядя Коля встал, отряхнул с колен несуществующий мусор.

— Что, мужики, чуть в штаны не наложили, — он глядел на нас с превосходством — он имел на это право. — Ладно, так и быть, пойдем перекурим это дело.

Курили на крылечке. Молчали, стараясь не смотреть друг другу в глаза.

Когда вернулись в сарай, свиньи на месте не оказалось — она как ни в чем не бывало ходила по загону.

Увидев ее, тщедушный и безарачный Витька побледнел и медленно пошел на дядю Колю.

— Т-т-ты... М-м-мастер... Ни одна не ушла... Д-д-да я тебя самого...

Витьку еле оттащили.

Свинью кончали без нас с ним. И от свеженины мы тоже отказались.

ПО ЯГОДЫ

После обеда, запыхавшись, прибегает соседский Колька.

— Сидите тут, а Хомутовы полведра ягод приперли! — сообщает он прямо с порога, едва переведя дыхание.

— Бреши больше! — мы с братом не верим, боимся подвоха. — Залепухи поди?

— Брешет попова собака, — обижается Колька, — токо шас сам видел... Красные... Меня Нюрка послала, сказала, чтоб пришли...

Раз Нюрка — это уже серьезно. Она старше нас всех и во всем, что касается лесного промысла, ее авторитет непререкаем. На этот раз Нюрка решила посоветоваться с моим старшим братом Шуркой насчет маршрута завтрашних поисков. Они долго совещаются и наконец выносят решение — пойдём за кукурузу: досужие Хомутовы как будто промышляли именно там.

Сбор назначен на восемь утра, на лавочке у дома соседей. Мы с братом приходим чуть раньше срока, томимся в ожидании: и чего, спрашивается, рассиживаются... Но вот появляется Колька, за ним его старший брат — ленивый, медлительный Витька, а затем и сама Нюрка.

Своей улицей, потом проулком мимо школьного барака, магазина, водонапорной башни выбираемся за совхоз, к краю большого кукурузного поля. Кукуруза стоит в наш рост, а кое-где и выше; и хоть ноги чуть вязнут в прохладной с утра земле, идти по полю интересней, чем по пыльной дороге.

От дальнего края поля до ближайших околков рукой подать. Не сговариваясь, берем курс на большую березу с неправдоподобно плоской вершиной. Береза видна издали и будет хорошим ориентиром на тот случай, если мы слишком далеко разбредемся по сторонам.

Впереди вытянулись полукругами два длинных леса; узкое, метров в двадцать, пространство между ними заросло разнотравьем — заячьей капустой, диким горохом, морковником и, что самое важное, — диким укропом. Зеленые, рыжие и белые шляпки гордо покачиваются на упругих стеблях, призывно кивают нам. Заросли дикого укропа — одна из вернейших примет обилия ягод.

Шурка с Нюркой выдвигаются чуть вперед и, высоко поднимая ноги, осторожно ступают на поляну. Мы держимся на почтительном отдалении, нервничаем: есть или нет, а то как не

повезет, проблуждаешь весь день и придешь — дно в посуде не закрыто...

— Есть маленько! — подав сигнал и нам приступать к делу, Шурка осторожничает в оценке поляны. Боясь спугнуть удачу, бурчит под нос:

— Мало ли что! Сначала, может, есть, а потом не будет...

В бидонах у нас вода, взятая про запас. Теперь — хочешь не хочешь — с ней приходится расставаться. Пьем кому сколько влезет, остатки выплескиваем на траву... Мгновение спустя уже слышен отовсюду легкий треск срываемых ягод и их дробный перестук о дно бидонов.

Двоим в одну посудину рвать несподручно: Шурка как старший берет себе бидон, а я — кружку.

— Семь кружек, — такую он определил мне норму, — как нарвешь — так домой пойдем.

Я знаю, что норма завышена: Шурка явно хитрит, заранее настраивая меня на большее число. Но в этой хитрости есть свой резон: магическая семерка все время будет в памяти, не даст раньше времени расслабиться...

Ну что ж, семь так семь!

Опускаюсь рядом с ним на корточки, раздвигаю руками траву и сразу замечаю несколько свесившихся вниз под тяжестью ягод кисточек — у нас их называют куртинками. Подвожу к ягодам снизу правую руку с разомкнутыми пальцами, ловлю ими упругие нити и легонько тяну руку вверх; нити скользят между пальцами, и вот уже вся гроздь на ладони. Еще одно легкое движение, и ягоды с сочными щелчками отрываются. Можно рвать по-другому — щепотью сверху, выбирая одни только крупные зрелые плоды, но это невыгодно — очень долго. В хозяйстве же любая ягода сгодится: и красная, и с прозеленью, и совсем зеленая.

Попали на хорошее место; присядешь пониже, пригнешь голову — и глаза разбегаются: кисти прямо, справа и слева, с боков, сзади... Тело охватывает легкая нервная дрожь. Устраиваешь кружку на земле, чтоб не упала, и орудуешь обеими руками. Велико искушение в первые минуты отправить в рот самые сочные, самые спелые ягоды, но чувство долга берет верх: если бы есть пришли — другое дело, а тут бидон целых четыре литра...

Первая кружка полна, добавляю еще горсть, чтоб была с верхом и Шурка не попрекал потом. Он тоже не терял времени даром — дно бидона уже закрыто. Шурка, держа ладони лодочкой, осторожно сыпает внутрь содержимое моей кружки и напоминает, возвращая ее:

— Осталось шесть. Да почище рви, а то глянь — залепух полно и травы вон сколько.

Тут он случайно замечает вырвавшегося вперед Кольку и истошно вопит:

— Нюрк, он же подавит там все!

— Во паразит! — негодует Нюрка. — И когда успел, только что рядом был... А ну — назад! Шас же!

Колька водворен на общий рубеж, над поляной вновь воцарилась тишина, все углубились в работу. Нюрка рвет проворнее всех, легко передвигаясь и почти не оставляя за собой ягод. Шурка, побряхывая, старательно обшаривает все вокруг себя, сидя на корточках. Позади всех сосредоточенно сопит Витька; он уже давно ползает на коленях, после него остается в высокой траве широкий зигзагообразный след. Нам с Колькой все время охота вырваться вперед, но старшие следят за порядком и чуть что возвращают назад...

После третьей кружки бидон наполовину полон, но уже болят изрезанные осокой руки, зудят искусанные комарами лопатки, ноет поясница и едкий пот заливает горящее лицо. Солнце поднялось высоко над лесом и жжет немилосердно.

Хочется пить, однако воды здесь нет и лучше о ней не думать. Время как будто остановилось: небольшая моя посуда никак не наполняется. По всему видно — и другие не прочь отдохнуть, но гордость никому не позволяет заговорить об отдыхе первым.

Кое-как набираю четвертую кружку и, с трудом разгибая поясницу, несу ее на вытянутой руке, словно боясь расплескать.

— Долго рвал, — сурово замечает Шурка. Потом критически осматривает мою несчастную полусогнутую фигуру и милостиво разрешает:

— Ладно, передохнем малость.

Устраиваемся в тени раскидистой березы, первым делом ревниво сравниваем — у кого больше. Нарвали почти поровну.

— У, черти дохлые, — сердится на своих Нюрка, — на обед не заработали. Спите на ходу, сачки несчастные.

— Да хватит! — лениво отбрехивается Витька. — Сколь нарвали — столь нарвали...

Жарко. Даже ругаться лень. В душном, звенящем от комаров воздухе плавают терпкие ароматы цветов и трав. Недовольно гудит одуревший от жары золотистый шмель, тяжело перелетая от цветка к цветку. В этом знойном покое вязнут и растворяются звуки. Легкий ветер не приносит прохлады, а накатывается всякий раз упругой горячей волной. Время от времени лениво перебрасываемся словами, но разговор не клеится.

— А ведь уснул! — неожиданно звонко говорит Нюрка. — Слышите?

Подозрительно затихший Витька и в самом деле тонко посвистывает носом.

Надо вставать, пока и нас совсем не разморило. Витьку бесцеремонно растолкали, работа продолжается.

Первые движения замедленны, но мало-помалу руки приобретают прежнюю сноровку. Придает силы и гордое ощущение уверенности в том, что домой отправимся не пустыми, что дело движется к концу, надо только дорвать посудину. После моей пятой кружки в нашем бидоне свободной остается лишь узкая часть — горлышко. Это — несколько горстей земляники. Стараемся выбирать самые красивые и аппетитные ягоды; они будут лежать наверху, создавая впечатление, что и дальше точно такие же. Обстоятельство это отнюдь немаловажно: показать товар лицом после удачного похода теперь уж просто дело чести.

Обратный путь занимает чуть больше времени — все-таки сказывается усталость. Но идем бодро: у старших покачиваются в такт шагам полные бидоны ягод. Старшие ведут между собой разговор, степенный и неторопливый: сходили-де, мол, удачно, а это хорошая примета — если в первый раз повезло, должно везти и потом; денек-другой отдохнуть надо и снова идти — чем плохо, когда зимой варенье к чаю... Они говорят о том, что год нынче хороший — дождливый, за ягодой и гриб проклюнется — тоже не прозевать надо...

— Здоров, добытчики! — раздается за нашими спинами зычный голос. Нас нагнал совхозный мужик Степан Кукарекин. Степан едет верхом на низкорослой пузатой лошаденке, а его длинные ноги едва-едва не достают до земли.

— Ишь ты, насшибали! — уважительно говорит он. — Надо будет своих послать. Где брали-то?

— А — там... — опережает других Колька, показывая чуть ли не в противоположную сторону.

— Зачем врал? — строго спрашивает брата Нюрка, когда Степан отъезжает. — Твой собственный лес, что ли?.. Купил, да?

— А чего он? — огрызается Колька. — Насшибали... Такого и слова-то нет... Сами пусть ищут...

Мы предпочитаем не вмешиваться. Вообще-то врать нехорошо — это ясно. И жадничать нехорошо... Но душой мы все же на Колькиной стороне: раз мы нашли, значит, и место наше, а они себе пусть другое найдут...

Совхоз уже совсем рядом. Шурка останавливается, похозяйски оглядывает бидон и остается осмотром недоволен.

— Утряслось малость, — озабоченно говорит он. Ягоды за дорогу действительно чуть уплотнились и теперь до самого верха посуды не хватает сантиметра два-три. Это не страшно: нам знакома маленькая хитрость, которая поможет восполнить недостачу. Шурка надувает живот и опрокидывает на него бидон вверх дном, причем так ловко, что ни одна ягода не падает. Он повторяет эту процедуру другой раз, третий... и свершается чудо — ягод в бидоне снова вровень с краями.

Теперь впереди самое приятное. И я отчетливо представляю, как встретит нас мать, обязательно похвалит и радостно захлопочет у стола. Мы, обжигаясь, будем есть жареную картошку прямо со сковороды и заливать ее холодным молоком. Говорят, это вредно — есть горячую картошку с холодным молоком, но это и чертовски вкусно.

Мы еще не успеем встать из-за стола, а по всему дому уже поплывает густой аромат полевой земляники — царицы всех ягод — аромат, впитавший в себя запах ветра, настоящего на травах, свежесть лесного дождя и тепло солнца... Этот ни с чем не сравнимый ягодный дух будет витать в доме, когда мы сядем всей семьей перебирать землянику — обрывать с каждой ягоды зеленые травяные шляпки; и потом, когда мать насыпет очищенных ягод в большую чашку и зальет их молоком, а мы будем есть это удивительное блюдо с хлебом... На варенье в этот раз почти ничего не останется, но мать все равно выкроит чуть-чуть — на пробу. А самую мелочь, уже казалось бы ни на что не годную, мать поставит на чердак — сушить. Несколько дней спустя она отсеет мусор, а высохшие ягоды бережно ссыпет в мешочек — они пойдут зимой на кисель.

...И будет вечер того хорошего дня. Сомкнешь веки, а перед глазами, как наяву, ягоды; они, покачиваются дразняще аппетитными розовыми боками, и пальцы непроизвольно шевелятся, пытаюсь сорвать спелую гроздь...

ПОРА СЕНОКОСНАЯ

День первый, не очень удачный

Наверное, никакая друга пора не значила в нашей жизни — жизни сельских мальчишек — так много. Это жаркое страдное время никогда не носило в целинном краю патриархального характера с непременным выходом в поле целыми семьями, ручной косью, романтическими ужинами в поле и ночевками в шалашах. Сенокосная страда нам памятна тем, что все мы очень быстро выросли, приобщаясь к настоящему делу.

Мы шли помощниками трактористов в поле не потому, что наши семьи не могли обойтись без нашего небольшого приработка, хотя, по правде говоря, и он никогда не был лишним. Дело тут, скорее всего, в традиции: считалось неприличным болтаться летние месяцы без работы, если тебе на будущий год идти в седьмой-восьмой класс.

Собственно, все решалось без лишних хлопот и нашего

личного участия — престо однажды вечером мать приходила с работы и говорила за ужином:

— Пойдешь к дядьке Михальченко, на подборщик. Заявление я написала, Иван (бригадир) знает... И не шалайся мне допоздна, завтра вставать чуть свет!

Видно, матери не понравилось то, как она закончила свое известие, и уже другим тоном, мягко и даже виновато она продолжает:

— Пробудешь с месячишко, да и ладно... А к школе новый костюм возьмем — старый-то совсем обносился.

Я знаю: матери жалко отправлять меня на работу, ей кажется — мал еще. Но начинать когда-нибудь надо, и я понимаю это не хуже ее. Оттого что мать чувствует себя виноватой и прячет под стол тяжелые изработанные руки, у меня сердце щемит, я срлатываю комок, подступивший к горлу, и бубню торопливо:

— Ладно, мам, ладно, чего ты?.. Я же сам просился. Шурка (старший брат) после пятого класса работал, а мне уже в восьмой осенью, — и, чтобы оборвать неприятное для нас обоих объявление, первым встаю из-за стола.

Возвращаюсь к полуночи, осторожно, стараясь не скрипнуть дверью, не наткнуться в темноте на табуретку, пробираюсь на кухню, где мне постелено на полу. Уснуть сразу не удастся, но скоро сон накатывается приятной теплой волной. Кажется, только смежил веки, а уже доносится откуда-то сверху тихий голос:

— Вставай, сынок, вставай, пора...

Вставать не хочется, но нарочито бодро сажусь на полу, потом бегу во двор к умывальнику. Торопливо плескаю в лицо охладевшей за ночь водой. На столе меня ждет сковородка с аппетитно подрумяненной картошкой, банка с молоком, крупными ломтями нарезанный хлеб.

По случаю первого рабочего дня мать выходит проводить меня за калитку, сует в руки заранее приготовленную сумку с обедом, где (это я уже знаю) несколько круто сваренных яиц, пучок зеленого лука, ломтик соленого сала, хлеб, соль в пустом спичечном коробке и бутылка сладкого кваса.

— Иди с Богом!

Ни в какого Бога мать не верит, но считает, видимо, что лучше не отступать от традиционного напутствия.

Потом она стоит и молча смотрит, скрестив руки на животе, как я торопливой рысцей устремляюсь знакомой улицей к финскому домику аптеки — давнему месту сбора косарей.

Напарник мой Толька Елисейкин уже здесь. Невысокий плотный крепыш Толька младше меня, но, пожалуй, поздравее. Стоит уверенно, опершись на короткий черенок вил — без них на подборщике делать нечего.

Солидно здороваемся за руку, однако место в тракторной тележке — на ней нам предстоит ехать в бригаду — занимать не спешим: места здесь давно распределены и выбирать придется из того, что останется.

Некогда красный, а теперь непонятного цвета колесный трактор не спеша тарахтит по улице, потом — по накатанному проселку. Путь до бригады не близкий — километров десять, в другое время вполне можно подремать полчаса, но сегодня первый день — сон как рукой сняло. Мужики заняты кто чем: кто покуривает, спрятав в кулак сигарету, кто дремлет, подоткнув под бок добрый клок сена, предусмотрительно захваченного с вечера. Разговора почти не слышно, да и не особенно разговоришься за тарахтением трактора: к тому же и трясет неимоверно, хотя дорога кажется ровной, как стол.

Тайком посматриваю по сторонам и успокаиваюсь: народ в большинстве знакомый, так или иначе почти со всеми приходилось иметь дело. В левом углу, у переднего борта, пристроился Иван Малинин, костлявый белотелый мужик лет сорока. Он из целинников. Время от времени Иван виртуозно сплевывает сквозь зубы за борт. Он задирист, а кроме того большой знаток по части русского мата. Рядом с Малининым сонно покачивается другой Иван — Дрожанов, мужик язвительный, мокрогубый. У него три сына, которых Иван берет с собой на работу едва ли не с пеленок. Прямо перед моим носом упруго колыхается тугой живот Сашки Кейбуса, молодого еще парня, помощника бригадира. Нас, пацанов, он не особенно жалует. У заднего борта подбрасывает на кочках еще одного тракториста с репутацией человека несамостоятельного, беспутного. В совхозе мало кто знает его имя, зовут чаще всего обидным, но емким прозвищем — Сыскин зять — по фамилии тещи, которая вертит зятем, как хочет.

Толкаю в бок напарника: а где же наш? Вдруг напрасно едем?

— Я-то почему знаю, — недовольно отодвигается Толик — все-таки умудрился соснуть.

Нашего встречаем на полевом стане. С опаской подходим и с ревнивой гордостью собственников отмечаем, что трактор у него почти совсем новый, ярко-голубой, с кабиной. Да и подборщик вполне хорош — сквозь небольшой налет пыли угадывается красный цвет.

С почтением здороваемся. Ждем указаний. Ждем, что тракторист скажет: ну, чего стоим, поехали. Оказывается, ехать рано. Надо сперва смазать подборщик (кстати говоря, в дальнейшем это станет нашим кровным делом). Впрочем, это тоже интересно — находить на крышках подшипников отверстия и большим шприцем, похожим на насос, но с лишним рычагом сбоку, закачивать туда густой иссиня-фиолетовый солидол.

Ну вот, теперь можно и трогаться. По специальным лестницам забираемся на небольшие деревянные площадки, устроенные по бокам копнителя, и он семенит за трактором, переваливаясь на ухабах, важно, как жирная деревенская утка.

* * *

Работа у нас не трудная. Косари уходят вперед, оставляя за собой волнистые упругие валки сена. Подборщик копнителя заглатывает валок и подает в бункер. Когда бункер наполняется, мы должны вилами равномерно разбрасывать сено по всей емкости и по возможности утрамбовывать. Потом нажимаешь на рычаг, и бункер опрокидывает аккуратную светло-зеленую копну — почти правильной формы куб, только с овальными углами. Если трамбовать плохо, получается копна — не копна, а неопределенной формы кучка. Это плохо: сено может пересохнуть, его может растащить по полю ветер, испортить дождь.

Сначала работаем с жаром. В бункере еще только дно закрыто, а мы уже орудуем вилами. Но скоро пыл наш начинает ослабевать — жарко, да и руки ломит с непривычки. Неприятно саднят ладони с лопнувшими водянистыми мозолями — явно переусердствовали. Выручает непредвиденный случай — подборщик захватывает вместе с валком толстую ветку. Раздается оглушительный треск, впечатление такое, будто машина — это ненасытное чудовище — наконец сыта: она уже не заглатывает валок, а толкает его перед собой. Трактор останавливается.

Наш шеф уже на земле и призывно машет рукой. Спускаюсь и испытываю непреодолимое желание лечь: неуверенно переставляя ноги — после тряски и земля кажется неустойчивой — подхожу.

— Умаялись, помощнички, — сочувственно говорит тракторист, — это с непривычки, втянетесь.

Увидел, как я украдкой дую на ладони, и потребовал:

— А ну, покажь!

— Да-а-а, — протянул с досадой. — Ладно, вы — вацаны, а я, старый дурак, куда смотрел... Надо было у бригадира брезентухи взять. Ну, ничего, пошабашим сейчас, а в обед что-нибудь придумаем.

Достал ящик с инструментами, ловко освободил подборщик от ветки, которая успела змеей опутать валик, утыканный жесткими металлическими прутьями, и попросил:

— Потерпите еще чуток — бункер добрать надо. И — на обед.

... Чисто побеленный аккуратный бригадный домик-кухня уютно устроился у длинного березового колка. С трех сторон домик окружают кусты тальника.

— Чтой-то рано, работнички! — язвительно встречает нас повариха. — Ай, оголодали?

— Не ворчи, старая, без тебя знаем, — парирует, явно защищая нас, тракторист.

Мы еще не поставлены на довольствие, так что на бригадный обед рассчитывать нечего. Наскоро смываем грязь степлившейся водой из большой цистерны и с собственной провизией идем в холодок, благо лес рядом.

То ли от усталости, то ли от зноя едим без аппетита, больше налегаем на квас. И не поеи толком, а глаза начинают слипаться, тело охватывает легкая истома, неудержимо тянет спать. Вижу, что напарнику не легче, и предлагаю лениво и независимо, будто сам свеж, как огурчик:

— Вздремнем с полчасика?

— Давай! — быстро отвечает Толик, словно я могу передумать. И нет уже никакой силы, которая помешала бы нам осуществить задуманное.

Испытание

Через несколько дней и вправду втягиваемся. Работаем без брезентовых рукавиц — с новыми жесткими мозолями без них действовать сподручнее. Наученные первым горьким опытом, с удовольствием пускаемся на маленькие хитрости. Сиденья на подборщике не предусмотрены, но на площадках — наших рабочих местах — с трех сторон есть ограждения для безопасности. Если набрать побольше сена, то можно устроить подобие шикарного кресла с упругим основанием и даже упором для спины. Разумеется, тут надо сено помягче, его хватает на опущках колков: час-полтора — и сиденье готово. На нем можно прекрасно отдохнуть, пока бункер наполняется очередной порцией сена и не требуется нашего участия.

Тот год был урожайным на ягоды. В первые дни мы использовали любую остановку, чтобы набить животы сочной ароматной земляникой. Потом обленились и приспособились брать ее из валька прямо на площадках. Подборщик подает валок в бункер сплошной лентой, не кроша и не сминая; заметив подходящую низинку, мы урывали по небольшому клоку сена и чаще всего находили те же ягоды, за которыми прежде приходилось бегать. Что из того, что в них не было первозданной свежести — подвяленная ягода, да еще добыта таким необычным способом — своим ходом в руки — казалась не менее вкусной. Кстати говоря, ее можно было заготавливать и впрок. Скажем, бункер почти заполнен, от дела оторваться нельзя, зато можно бросить пук сена у ног и спокойно работать. Свалил очередную копну, устроился в «кресле» поудобней, пук

разнотравья на колени и — выбирай ягоды, млея от удовольствия.

Но бывали и менее приятные минуты. Мало-помалу пригодная степь у бригадного стана была выкошена, косари уходили дальше, мы, то настигая их, то отставая — вслед. Так оказались однажды на огромной, почти в тысячу гектаров, пустоши. Когда-то здесь сеяли хлеб, но хлеб не родил, потом пробовали сеять житняк, но и он рос плохо. Участок бросили — свободных земель в ту пору еще хватало. Его выкашивали раз в два года — все же корм какой-никакой. В тот год после неправдоподобно мощных дождей травы здесь встали по пояс, а где и в человеческий рост высотой! Это было не радующее глаз степное разнотравье, а пространство, густо поросшее полынью, перекатиполем, лебедой (уж ее-то сейчас если и встретишь, то разве на домашнем огороде) и прочей живучей растительностью, от которой ломались сегменты на ножах у сенокосилок, а тракторные грабли наполнялись плотной массой в считанные секунды. Валки лежали на поле густо и уходили волнистой чередой к самому горизонту.

— Теперь держись, парни, — посочувствовал дядя Митя, — работы дней на пять — не меньше.

Любое поле, даже в наших равнинных условиях, только кажется ровным — теперь я знаю это точно. Трактор шел, наверное, чуть быстрее пешехода, но трясло и качало подборщик так, что лязгали зубы и звенело в ушах. Вместе с мощным валком подборщик вздымал целые клубы пыли, и трактористу трудно было различить нас, окутанных душным, терпким, серым облаком. Бункер, как и следовало ожидать, наполнялся в считанные минуты — тут не присядешь — и скоро мы потеряли счет копнам, который вели раньше со скрупулезной точностью. Струйки пота стекали по нашим лицам, оставляя грязные полосы, от едкой влаги щипало глаза. Вместе с пылью попадала за шиворот рубашек сенная труха и противно жгла мокрое тело. Настоящим раем казались минуты, когда трактор останавливался, и мы, отталкивая друг друга, жадно тянули через медную трубку воду из деревянной баклажки. Мы ждали этих минут, как манны небесной, и нам казалось, что нет и не может быть на свете ничего прекрасней этих коротких минут, нет и не может быть ничего прекрасней этой прохладной, чуть сладковатой влаги.

Тогда казалось, что мы уже сломлены, что не хватит сил вновь подняться на опротивевшую площадку, взять в руки вилы... Хотелось бросить все к черту — в конце концов есть и другие работы. Но очень стыдно было показать свою слабость напарнику и тем более трактористу, человеку с тяжелыми

рабочими руками и добрыми, все понимающими глазами. Я думаю сейчас, что мы все-таки ушли бы, если бы он обронил хоть одну обидную фразу: слабаки, мол, первой трудности испугались...

Но он молчал. Терпеливо курил, пока мы, обессиленные, лежали на земле в тени подборщика. В этом молчании было, наверное, во много раз больше поддержки и душевного тепла, чем в самой цветистой и зажигательной проповеди.

И уже через день мы познавали упоительную радость труда. Не знаю, что это было: торжество воли над слабостью, второе дыхание или еще что-то. Но это было то состояние духа, когда чувствуешь себя, каждую клеточку своего тела способными на все. Тело кажется легким и упругим, руки - ловкими и быстрыми, уже не замечаешь ни едкого пота, ни пыли, все движения точны и расчетливы, и чем выше темп работы - тем радостней: быстрее, я могу еще быстрее, я сильнее, я все могу!

... К исходу четвертого дня мы подобрали все валки на этом злосчастном поле. Поставили трактор у большой кудрявой березы, посмотрели разом на поле, густо заставленное копнами - их было, наверное, не меньше тысячи. И наш шеф молча (к чему слова, когда и так все ясно) по-мужски крепко стиснул каждому из нас руку.

Дядя Митя и Сашка

Наш тракторист - человек, заслуживающий того, чтобы рассказать о нем особо. И я, как могу, хочу это сделать.

Удивительно, как часто порой в серой обыденности мы не ценим людей внешне непримечательных, но обладающих громадным запасом душевной щедрости, людей, на которых воистину земля держится. Мы тянемся чаще всего за лидерами, яркими личностями, как за красивыми игрушками - где уж тут рассмотреть простую человеческую душу...

Так и мы считали сначала - не повезло. Староват - дяде Мите (мы звали его как обычно зовут в селе людей много старших по возрасту) было, пожалуй, под пятьдесят. Без нужды слова не вытянешь, лишний раз не улыбнется. Не бирюк, но и не весельчак; словом, так себе - серединка наполовинку.

Правда, сразу обращали на себя внимание глаза, глубоко посаженные, темные глаза человека, немало повидавшего в жизни, и как будто таившие большую печаль или тревожную думу. И еще - руки, длинные, крепкие, с ладонями узкими и шершавыми, как наждак. Когда дядя Митя работал в рубашке с коротким рукавом, особенно отчетливо бросалось в глаза то, что его руки словно не имеют кистей - ладонь сразу переходила

в локтевой сустав и только чуть-чуть утолщалась дальше. Но эти странные руки умели все на свете. Во время работы часто ломались планки транспортера - иногда среди сена незамеченными попадали в подборщик палки, куски проволоки - мало ли что может встретиться в наше время на поле. Запасные планки у нас всегда были с собой, оставалось снять старую и заклепками прикрепить к транспортеру новую. Операция для толкового механизатора простейшая, но заклепок почему-то всегда не хватало, и вместо них шла обычная стальная проволока. Дядя Митя вырубал зубилом короткий стерженек, вставлял в отверстие и постукивал молотком не прямо - сверху вниз, а по очереди с боков. Очень ловко это у него получалось: заклепка выходила аккуратная и обязательно со шляпкой, похожей на срезанную часть шара.

Главное - держала потом заклепка планку ничуть не хуже заводской. Пробовали проделать эту операцию и мы. Затрачивали втрое больше времени, старались, как могли, отбивали молотком пальцы, но получались заклепки неуклюжими и плоскими, хватало их в лучшем случае на несколько часов работы.

Дядя Митя был страстным курильщиком, курил только папиросы "Прибой" или "Север", полностью изжевывая мундштук. Как-то случилось почти невероятное - у него не оказалось спичек. Работали, как назло, на отшибе, взять не у кого и до обеда далеко. Сначала дядя Митя крепился, а потом не выдержал:

- Погибаю, ребята, невтерпеж без курева...

Наверное, это был единственный случай, когда мы видели нашего тракториста даже не растерянным - убитым. Он бесцельно ходил вокруг трактора, судорожно сглатывал и вдруг просветлел лицом:

- А ну, тащите ящик с инструментами!

Среди множества разных предметов нашелся тяжелый металлический брусок - наковальня, хранимый на случай поломки. Дядя Митя отобрал несколько кусков проволоки, остановился на толстой и гибкой. Один конец согнул, чтобы держать было удобнее, другой положил на брусок и стал бить по нему молотком ровно и сильно, постепенно увеличивая темп ударов. Проволока плющилась, он ставил ее на ребро и снова бил, опять переворачивал - п бил, бил, бил... Так продолжалось несколько минут, потом расплющенный конец слегка порозовел, но дядя Митя продолжал свое дело, и когда конец превратился в ярко-красную лепешку, он быстро поднес ее к зажатой в зубах папиросе и ... прикурил. Жадно затянулся несколько раз и счастливо выдохнул вместе с облачком сизого дыма:

- Теперь живем!

Такую процедуру он проделывал до обеда еще несколько

раз, был неизменно весел и даже пытался подшучивать над нами:

- Небось, сами потягиваете втихаря? Подборщик мне не сожгите.

И глаза его лучились радостью человека, во всем довольного жизнью.

Естественно, как только подвернулся удобный случай, мы попытались повторить фокус с проволокой. И папиросы нашлись, хотя мы еще не курили, но черта с два! Сколькo ни бились, накалить проволоку докрасна не удавалось. Расплющенный конец был горячим, обжигал руку, если дотронешься, однако не прикуривалось - и все тут.

И все-таки по-настоящему мы смогли оценить дядю Митю значительно позже, после того, как поработали несколько дней с Сашкой Кейбусом - он подменял нашего тракториста, некстати заболевшего.

Как я уже говорил, сено в бункере желательно утрамбовывать, в таком случае копна лучше сохраняет форму. Дядя Митя, жалеючи нас, не требовал, чтобы мы непременно лезли в бункер, когда он наполнялся; выходит копна - да и ладно. Само собой разумеется, что, и начав работать с Сашкой, мы вываливали первую копну, как только посчитали нужным. И на нашу беду сделали это неудачно: крышка бункера "размазала" копну по полю - смотреть стыдно.

Наш новый шеф тут же остановил трактор, спрыгнул на землю, ткнул грязным пальцем в сторону бесформенной кучки и тоном, не предвещавшим ничего хорошего, спросил:

- Эт-то что?

Вопрос был, конечно, чисто риторический, но Сашку это не волновало.

- Я спрашиваю, что - это, мать-т-вашу? - Далее последовало несколько выражений, которыми так богат наш великий и могучий русский язык.

"Народ" безмолвствовал. Наверное, в нашем молчании Сашка уловил неуважение к своей персоне и, распаляясь, продолжал:

- Расселись, понимаешь, как на именинах! Я вас научу работать... Я вас заставлю хорошую жизнь любить... А ну - убрать сено с площадок! Ишь ты, сиденьев понастроили...

Когда запас слов иссяк, благо, был он у Сашки не очень велик, Сашка ласково закончил:

- Топтать будете, хлопчики, топтать. Ясно?

Подумал немного и решил, что конец речи надо чем-то подкрепить.

- А как сигнал дам - сваливайте копну. Как сигнал дам, ясно?

И началось. Одно дело разваливать по краям бункера податливую сенную массу и трамбовать ее вилами с площадки.

другое - самому бегать по бункеру, проваливаясь по пояс в сено, пока под ногами не станет пружинить, как на хорошем батуте; видеть при этом повернутую назад невозмутимо-круглую Сашкину физиономию и промасленный кулак величиной с небольшую дыню, которым этот изверг делает поступательные движения сверху вниз, покрикивая:

- Топчить, лучше топчить!..

Урабатывались мы с новым шефом до полного изнеможения. И до того нам опротивела его сытая самодовольная физиономия, что, когда пришел, наконец, дядя Митя (а вместе с ним, разумеется, и наше спасение), мы места себе не находили от радости: наперебой выполняли все его мелкие поручения, перехватывали друг у друга ключи, чтобы подать нашему (понимаете - нашему!) трактористу. Не вполне понимая причин этого странного рвения, дядя Митя вопросительно уставился на Сашку.

- А я, эт-самое, их маленько работать поучил, - гордо пояснил тот и вместо прощания погрозил нам напоследок кулаком.

- Этт-самое! - передразнил Толик Сашку, когда тот был уже на безопасном для нас расстоянии, и смачно плюнул. - Зануда грешная!

* * *

Дядя Митя умер три года спустя. В ту пору я уже работал в райцентре, и, узнав что он в больнице, пришел навестить. Палата находилась на втором этаже старого деревянного здания - окнами к солнцу. Дядя Митя полулежал-полусидел на койке слева у стены головой к окну, сделав упор для спины из двух жестких, набитых ватой подушек. Он как будто ничуть не удивился моему приходу: вяло пожал протянутую для приветствия руку, через силу улыбнулся.

- Вот, видишь... - и замолчал.

Я тоже смешался, не зная, что говорить. Передо мной был человек, лишь отдаленно напоминающий того сильного и добродушного дядьку, которого я знал. Лицо у него сильно вытянулось, на щеках легли глубокие, покрытые седой щетиной морщины, голый череп был обтянут нездоровой желтой кожей, исхудавшие руки безвольно покоились поверх одеяла:

- Вот видишь, - снова повторил он и со скрытой обидой спросил. - не нравлюсь? И себе не нравлюсь... Кажись, отработался...

Как-то испуганно оглянулся по сторонам - не видит ли кто - и откинул край одеяла.

- Смотри!

Чудовищно распухшая водянистая нога занимала едва ли не треть кровати, казалось, ткни пальцем - и она лопнет, как мыльный пузырь, брызнет влагой.

- Помру я, наверное, скоро, - спокойно сказал дядя Митя, осторожно, как ребенка, прикрывая ногу одеялом.

Мне было страшно от того, что он говорит об этом так просто, нисколько не волнуясь, не плача, говорит так, как говорят о вещах обыденных и ничего не значащих. И я опять не знал, что ему ответить, стал мямлить: ерунда, мол, и не таких вылечивают, надо только настроить себя, не сдаваться...

- Да ты погоди, брат, - перебил он мою несвязную речь, - думаешь, я сам жить не хочу... Но, видно, все... Все...

Он вытер тыльной стороной дрожащей руки влажные от слез морщинистые щеки и в его голосе послышались несвойственные ему просительные нотки:

- Ты, говорят, редактором работаешь, попроси, чтоб домой отпустили... Страшно мне тут помирать. А дома - ничего, может, проживу еще... Ты попроси, а?..

- Вряд ли послушают, - неуверенно пробормотал я, - я ж не начальник, просто корреспондент...

- А ты хорошо попроси, ты грамотный, найдешь, что сказать...

... Врача, костлявую молодую женщину, я нашел в другом конце коридора.

- Вы ему кто? - в упор и, как мне показалось, недовольно спросила она.

- Никто! - сердито ответил я, задетый ее тоном, потрясенный минуту назад увиденным и услышанным, и с вызовом добавил, - просто человек, нельзя спросить, что ли?

- У него саркома, - сказала врач, и убедившись, что мне это ничего не говорит, сухо пояснила, - рак соединительной ткани.

- Неужели ничего нельзя сделать?

- Теперь ничего, абсолютно безнадежен. - Она говорила - будто била по голове - размеренно и точно. - Так кто вы ему?

- Говорю же - никто, работали вместе, - с досадой сказал я и запальчиво спросил, - чего ж раньше думали?

Наверное, мой вопрос прозвучал по-идиотски, но к таким, видно, здесь уже привыкли. Женщина поправила очки и, не повышая голоса, устало ответила:

- А раньше, молодой человек, от отказался от операции... Еще вопросы будут?

- Он домой просится, - угрюмо брякнул я, заранее приготовившись к отказу.

- Через несколько дней отправим.

Может, мне это только показалось, но в глазах ее за толстыми стеклами очков промелькнуло что-то тревожное, непостижимое для меня. Женщина недовольно вскинула голову и снова в упор посмотрела на меня.

- Извините, - неожиданно для себя самого пробормотал я, - пожалуйста, извините, - и вышел.

... Дядя Митя умер несколько недель спустя. На его похоро-
нах я не был. В то время я не был еще ни на одних похоронах.

Курьезы

Есть странное свойство у человеческой памяти - хранить в своих тайниках по прошествии лет мгновения светлые, радост-
ные, а на грустные случаи жизни накладывать несколько иной
осмысл, такой, что видятся они потом в другом свете. Наша
работа была и жизненной школой, и учебой одновременно. И
методы учебы каждый из наших трактористов при этом приме-
няли разные, порой далеко не педагогические, но на его взгляд
вполне безобидные. Ухо нам, пацанам, приходилось держать
остро - иначе можно было запросто попасть впросак. Но,
несмотря на все старания, в ловушки все же попадались, и очень
часто. Были среди нас такие, кто добросовестно стучал молотком
по баллонам трактора - искра в колесо ушла, объяснял в таких
случаях тракторист своим помощникам, постучать надо, авось
и появится...

Но превзошел всех в своем коварстве опять же Сашка
Кайбуо. В один из знойных дней, ошалев от жары, он остановил
трактор, ругнулся для порядка и сказал, сокрушаясь:

- Компрессия закончилась... Загорать придется, а, парни?
Помощники подавленно молчали.

Сашка в задумчивости поскреб затылок, а потом попросил
Витьку Семенова:

- Слушай, Витек, а может сгоняешь к Ивану Дрожанову,
возьмешь полведерка. Скажи - завтра утром отдадим. Сбегай,
Витек, а?

Витька схватил ведро и побежал к Ивану. Тот сначала от
такой просьбы изумленно выпучил глаза, но быстро сообразил,
в чем дело, и отправил Витьку к Петру Водостоеву, тот -
далее...

Вечером над Витькой потешалась вся бригада, включая
поварих и сторожа. Мы тоже посмеивались, радуясь втайне, что
не оказались на его месте. И странное дело - ведь никто из нас
не был абсолютным профаном во всем, что касалось техники -
почти все управляли трактором (бригадир об этом, разумеется,
не знал) и ремонтировать помогали, а вот попадались все же в
эти незамысловатые ловушки. Дело тут, скорее всего, было в
преклонении перед авторитетом своего тракториста: раз он
сказал, значит, так оно и есть - какие уж тут шутки. Обижались,
конечно, попав в очередной раз в просак, но ненадолго: не мы
первые, не мы последние...

Впрочем, казусы случались не только с нами. Поймали как-то птенца кобчика, вполне оперившегося, но не научившегося еще толком летать. Птенец угрожающе шипел, широко разевая черный снаружи и красный изнутри крючковатый клюв, злобно таращил круглые горящие глаза и больно царапался острыми когтистыми лапами. Пытались кормить его хлебом - не брал, осталось нетронутым и мясо.

- Я заберу! - загорелся Иван Малинин. - Давайте!

- На что он тебе? - вступилась за птенца повариха. - Отпустили бы лучше птицу, охломоны.

- Знаю на что, - пообещал, улыбаясь тайной мысли, Иван. - Цирк жене покажу.

Видя заинтересованно повернутые головы, Иван все более воодушевлялся.

- Моя Наташка все время мерзнет по ночам - холоднокровная, зараза, попалась: чуть что - лезет греться. Отучать пора. Как сунется - я ей кобчика, чтоб не будила по ночам.

К идее отнеслись по-разному. Женщины - резко отрицательно, мужчины - сдержаннее. Единственный, кто решительно поддержал Ивана, Иван Дрожанов, как видно, сам имевший зуб на жену.

... Утром долго ждали Ивана. Пришел он, украшенный багрово-синим кровоподтеком у левого глаза и глубокими царапинами на шее.

- Ты что, Ваня, упал? - нарочито участливо полюбопытствовал бригадир.

- Тебе бы так упасть, - мрачно пожелал Иван, устраиваясь поудобней. - Баба - она и есть баба, шуток не понимает, дура. Глаз чуть не выбила.

Последние слова утонули в оглушительном хохоте, даже тракторист высунулся из кабины, недоумевая, что за шум.

О том, что произошло дома, Иван предпочел не распространяться, особо любопытствующих бесцеременно обрывал, не стесняясь в выражениях. Зная его бешеный нрав, многие просто побаивались досаждать расспросами. Как выяснилось потом, втайне Иван глубоко переживал случившееся, считал себя пострадавшим безвинно, по собственной глупости. И не потому, что затеял все это дело, а потому, что сделал тактическую ошибку.

- Поспешил я, мужики, - хмуро заявил он, приняв однажды вечером для бодрости грамм двести. - Обождать бы мне чуток, ну, самую малость, - а там поглядели бы еще, чья возьмет!

- Ты, Ваня, толком расскажи, по порядку, - подавляя улыбку, попросил бригадир.

- Чего там! Не стесняйся, - зашумели механизаторы, чувствуя, что Иван "созрел" для исповеди. - Давай - все как было!

- Говорю же, что поспешил, - начал было Иван, но его тут же перебили.

- Заладил, как попугай: поспешил да поспешил - говори толком!

- Ну, ладно, - согласился Иван, - видно ему было уже невтерпеж носить обиду в себе.

- Сначала все по уму было. Пришел домой - ее нет. Кобчика спрятал в коробку из-под ботинок (импортные на днях взяли), коробку под кровать. Гляжу - идет моя царевна-куралевна. Хотел обругать для порядку - муж дома некормленный, а ты по дворам шалаешься. Стерпел... Стерпел, мужики, потому как мог все дело испортить. Тихим прикинулся. Устал, дескать, сегодня чего-то: поисть бы да спать. А она как чувствует - что-то больно смиренный... Как пить дать, загуляешь на днях. Это у нее примета такая: если смиренный, значит - к выпивке. Ну, ладно. Я те, думаю, покажу к выпивке...

Тут Иван вынужден был сделать паузу, попытался затянуться сигаретой, которая давно погасла и безвольно висела на нижней губе. Попытка кончилась неудачно, он выплюнул сигарету и, видя, что все кругом затаили дыхание, с грустью продолжал:

- Ну, вот. Лег пораньше. Кобчика из-под койки к себе перетащил. Жду. Не идет, зараза, и все тут. Измаялся весь, покуда дождался. Только она одеяло откинула - пора, думаю, тут надо и кобчика бросать. А он, падла, как назло, когтями за одеяло зацепился. Я его на себя - оторвать же надо. Ну, и не рассчитал маленько - сильно дернул. Он крылья растопырил, пищит. Наташку чуть задел, а мне когтями в глотку вцепился. Наташка-то не разобралась с испугу, в чем дело, и саданула мне в глаз кулаком. Это я вам скажу, мужики, ручка - еще бы раз угодила - точно б мозги вышибла.

... Ну, свет зажгли. Она трясется, как припадочная. На какого хрена, говорит, ты эту гадость в дом притащил, делать нечего, что ли? Натюралет выискался, дурак старый! Сама, говорю, дура, орала же, что мыши скоро голову отъедят, а кобчик от мышей первое средство, он их, как семечки, лузгает.

- От кого средство? - не выдержал наконец и затрясся от беззвучного смеха бригадир, - от мышей, говоришь... Ну ты артист! - И заикал, не в силах больше сказать ни слова.

- Так это я случайно придумал, - простодушно пояснил Иван. Но его уже не слушали. Визгливым дискантом зашлась повариха и ее мощное тело колыхалось, как студень. Сашка Кейбус ржал залиvisto, как породистый жеребец. Бригадир свалился со скамьи и в изнеможении сучил по земле ногами. Смеялся даже наш тракторист дядя Митя, прикрывая темной ладонью шербатый рот. От внезапного шума шарахнулась в

сторону, поджав хвост, дворняжка бригадного сторожа, испуганно завизжала и на всякий случай отбежала подальше.

Никак не ожидавший такой реакции, Иван недоуменно хлопал белесыми ресницами, топтался на месте, а когда смех поутих, сказал с обидой:

- Рассказывай вам после этого...

- Да ты не обижайся, чудак, - зашумели кругом, - ну, вышла промашка, бывает... Мышей-то хоть ловит?

- Кто? - не понял иронии Иван.

- Кто-кто? Кобчик!

- Сбежал он, - вконец растерялся Иван, - кошку взяли.

- Оно, конечно, надежнее, - рассудительно заключил бригадир, чем вызвал новый приступ веселья, но уже не столь буйного, впрочем...

За сено

Дни теперь летят быстро, и работа совсем не кажется тягостной. Все лучшие уголья выкошены, сенокос в нашей бригаде потихоньку сворачивают. Август на исходе - нам скоро в школу.

Дома поговаривают о том, что пора и самим сена привезти. Такое право у нас есть - его заслужил я, работая нынешним летом в бригаде. Дело за транспортом. Наконец и этот вопрос улажен, после обеда выезжаем.

Нас четверо вместе с шофером. Машина тряско пылит по проселку мимо зеленых еще хлебов, колков, не тронутых приметам осени. Ехать надо километров пятнадцать - вблизи села сено уже вывезено. Ближе к месту заезжаем в лес, чтобы оборудовать машину. Первым делом надо вырубить бастрик - лесину, без которой впоследствии не обойтись. Тут не каждое дерево годится, а только береза, молодая и упругая. После недолгих поисков находим подходящий экземпляр. Жалко губить стройную белоствольную красавицу, но ничего не поделаешь - надо. Дерево зябко вздрагивает после каждого удара топора и неловко, словно нехотя, с шумом валится набок. Отец быстро обрубаёт ненужные ветки, отделяет вершину. Остается обрубок длиной три с половиной-четыре метра - как раз хватит. На машине открываем борта и прикручиваем толстой проволокой четыре поперечных обрубка, получился прямоугольник - теперь всю тяжесть груза примут на себя не хрупкие борта, а эти поперечины.

У первой копны отец долго советуется с мужиками: брать сено или еще поискать. Сходятся на том, что надо брать - лучшего можно не найти, а солнце вот-вот зависнет над кромкой леса.

Обязанности распределены заранее: дядя Вася Базюк наверху - на раскладке, мы трое подаем снизу. У раскладчика задача посложней - сформировать воз так, чтобы он не только имел вид, но и не дай бог не рассыпался по дороге: тогда весь труд насмарку, да и стыда в совхозе не оберешься...

Сначала просто бросаем душистые охапки наверх - борта на уровне груди, особых усилий не требуется. Но мало-помалу основание будущего воза создано, и теперь принцип "вали кулем - потом разберем" негоден. Дядя Вася все еще покрикивает: "Куда, куда суешь на угол! Сбоку давай, сбоку!" Разницы как будто никакой - что на угол, что сбоку, но - нет: углы дядя Вася стережет пуще глаза - от них зависит весь вид и прочность стога.

Сначала воз растет быстро, а потом в какой-то момент застывает на месте. Это оттого, что раскладчик у нас опытный: постепенно расширяя стог от основания кверху, он одновременно умело утаптывает сено.

Я почти выдохся, а отец с шофером - как ни в чем не бывало: все так же неторопливо и мощно вонзают зубцы вил в упругую массу, одним движением вскидывают над головой, несут почти на вытянутых руках вперед и ловко забрасывают наверх. Каждая порция сена, которую поднимают за раз они - это три-четыре моих навильника.

Много лет спустя я смотрел хороший в общем фильм и испытал досаду: молодой деревенский парень, желая обратить на себя внимание, орудует вилами, как автомат, а на стог попадают крохи - сразу видно, что человек никогда не работал на сенокосе... Впрочем, вряд ли я сам тогда действовал лучше него...

- Верши помаленьку, Василий! - следует команда, когда уже двухметровых черенков не хватает, чтобы подавать сено. Дядя Вася "забивает" середину так, что стог приобретает небольшое утолщение в верхней части. Хороший получился воз, аккуратный, прочный. Напоследок любовно оглаживаем вилами его бока, обирая клочки сена, что портят вид.

Теперь надо прижать стог сверху бастриком. В передней части делается треугольная петля из проволоки и зацепляется за толстую часть бастрика, а его укладывают посередине воза. Задний конец бастрика смешно задран кверху. Отец ловко перебрасывает через этот край дерева веревку, уже закрепленную одним концом внизу, а за другой мы дружно тянем, насколько хватает сил.

- Р-раз! Еще р-раз! - командует отец, помогая нам и поглядывая наверх. - Хватит! Теперь держите! - Он быстро привязывает внизу и второй край веревки. Бастрик надежно скрепил воз, - теперь не рассыпется - можно ехать...

Несколько минут уходит на сборы. Старшие степенно закуривают. Я, зябко передергивая плечами, натягиваю на остыва-

ющее после работы тело фуфайку. В кабине всем четверым слишком тесно, и я прошусь наверх.

- Не положено, - строго замечает шофер и нелогично добавляет: - так что - смотри там!

- Ладно! - весело откликаюсь уже с капота. Оттуда - на кабину, а затем не без труда и на самый верх. Делаю маленькое углубление, зарываюсь в него, лежа на животе.

- Поехали!

Пока собирались, совсем стемнело. Машина с натугой трогается, вспарывая светом фар плотную ночную темень. Возвратно покачивается из стороны в сторону, и я с удовольствием переворачиваюсь на спину.

Высокое черное небо дружелюбно подмигивает мне ясными глазами звезд. Ближе к полуночи звезды начнут падать: конец августа - пора звездопада. Надо поймать момент и загадать желание... Но неожиданно ловлю себя на мысли, что мне ничего не нужно от падающей звезды. На душе тепло и уютно: вот так бы ехать и ехать далеко, далеко... И я лежу, наслаждаясь тишиной и покоем, и думаю о том, как это здорово - жить под этим добрым небом...

ПРОСТО ОЧЕНЬ ПАМЯТНОЕ...

Наша память избирательна и прихотлива. Почему-то одно помнится, а другое забывается. Например, я помню мгновения, в которые я впервые осознанно почувствовал себя счастливым. Хотя повод к этому очень многим покажется до ничтожности несущественным.

Меня включили в сборную школы, отправляющуюся на районные соревнования. И вот как это произошло. Я тогда учился в шестом классе и особыми спортивными данными, увы, отмечен не был, особенно по части легкой атлетики. Несколько лучше у меня обстояли дела со спортивными играми, в том числе, волейболом и баскетболом, которые входили в обязательную программу соревнований. И я страстно мечтал быть включенным в заветную шестерку счастливых, которым доверят отстаивать честь родной школы, однако "не поглянулся" тренеру. Его звали Курмет, он был на три класса старше нас и на общественных началах готовил "спортсменов" к олимпиаде районного значения.

Мне сразу было дано понять, что на основной состав могу не рассчитывать, но я все равно ходил на все тренировки. На таких, как я, те, на ком Курмет остановил свой выбор, оттачивали игровое мастерство. Обычно мы играли пару таймов в баскетбол, после чего основная команда оставалась еще на свою

собственную тренировку, а все остальные переходили в разряд болельщиков или отправлялись домой.

И вот однажды после одной из наиболее жарких схваток, в которой мы, дублеры, разумеется, проиграли, мне, единственному из них, велено было остаться на площадке с основным составом.

- Побросай в кольцо, - неопределенно сказал Курмет, как бы давая понять, что у меня появился шанс, но также и то, что он еще ничего не решил.

Я был готов бросать в кольцо истрепанный футбольный мяч (им мы пользовались за неимением баскетбольного) не только весь вечер - всю ночь... И не поверил собственным ушам, когда услышал курметовское:

- Завтра на тренировку - как штык...

Последнее было, разумеется, лишним. Я и в "вольнoиграющих" не пропустил ни одной.

На следующий день был праздник. Первое мая. Мы с соседскими пацанами ходили за совхоз в поле. Леса стояли еще полные воды от недавно растаявшего снега, а на подсохших возвышенностях уже проклевывался густо-зеленый дикий чеснок. Мы щипали его и ели. Пахло оттаявшей землей, от березовых колков разливалась прохладная свежесть. И куда бы ни посмотрел, о чем бы ни подумал, все время, каждую минуту помнил: "Теперь я в команде, сегодня на тренировку..." Или наоборот: "Сегодня на тренировку. Теперь я в команде..."

И я пришел на ту тренировку. Кажется, один-единственный из всей команды... И был горд тем, что наш суровый Курмет не отправил меня по этому случаю домой. Мы с ним тренировались вдвоем...

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ

После девятого класса меня взяли играть за совхозную сборную команду по футболу. Мне выдали оранжевую футболку под номером десять и старые растоптанные бутсы. Я понимал, какое мне оказано доверие и всеми силами старался его оправдать. Старанием я пытался восполнить недостаток природных способностей.

По правде говоря, это удавалось не всегда. И чаще всего в послематчевых разборках ветераны команды Толик Шаринов и Яшка Галицкий высказывали мне свое неудовольствие. И я не обижался - молчал или говорил, что постараюсь следующую встречу отыграть лучше... А про себя думал: пусть ругают, лишь бы из команды не вывели.

Иногда за меня заступался центрoвой защитник Герка Гордеев. Герка имел устрашающую внешность и весил больше

центнера (его держали в команде для психологического запугивания соперников, хотя по натуре он был очень добр).

- Да ладно вам, - утробно гудел Герка, - ну, молодой... Научится еще.

Со временем я и впрямь кое-чему научился, и ругать меня стали реже.

Но лучшим в нашей совхозной команде мне было быть не суждено - я числился в середняках. Играл я на правом краю, в нападении, однако голами свою сборную не баловал. И все же был в моей спортивной жизни матч, за который мне и теперь не стыдно.

В то лето мы, отыграв первый круг, вышли в финал районного первенства. И я тоже должен был ехать на него. Но я уже закончил школу и поступил на работу в районную газету. Стало быть, играть за родной совхоз было теперь нельзя. Однако председатель районного комитета по физкультуре и спорту, с которым я успел познакомиться, разрешил мне доиграть сезон в составе совхозной команды.

Решающим оказался первый матч - с нашими соседями из совхоза "Веселая роща". Игра у нас почему-то не клеилась, и к концу первого тайма мы проигрывали со счетом ноль-один. И в этот момент я забил гол. Издалека, метров с двадцати - двадцати трех. Дело в том, что мне иногда удавались особые удары - удары после касания мяча о землю, когда энергия отскока умножается энергией удара собственной ноги... Тут самое главное - поймать момент отскока, и я его поймал. Конечно, я не был уверен, что забью гол, но мяч, описав большую дугу, угодил точно в левое перекрестие ворот. Вратарь видел тот мой удар, но недооценил... Это была чистейшая, классическая "девятка"! Я глазам своим не верил. Но факт оставался фактом, и меня уже тискали партнеры по команде.

- Ребята, надо выигрывать эту встречу! - сказал в перерыве совхозный комсорг (а по совместительству и методист по спорту) Володя Давиденко. - Яша, Толик, что молчите?

- Беру на себя гол! - заявил Яшка Галицкий.

- И я беру, - сказал Толик Шарипов.

Остальные молчали, зная свое место.

Во втором тайме мне опять улыбнулось спортивное счастье. И это был уже не случайный, а трудовой гол. Кто-то из наших издалека "навесил" на "веселорощинскую" штрафную. Там был их защитник, и он готовился принять этот мяч... А я бежал к месту его приземления - именно мне он предназначался "на выход". Я бежал, и в этом было мое преимущество перед ожидающим мяча противником. И я "прошел" его - этого сильного, опытного защитника, прошел на скорости, увидел заматавшего в воротах вратаря и за мгновение до удара почувствовал: "Будет гол!" (Никогда с тех пор мне не довелось больше испыты-

вать этого удивительного чувства уверенности еще до самого удара).

И мяч заплескался в сетке ворот.

Это был единственный гол во втором тайме, который принес нам столь желанную победу. Еще одну встречу мы сыграли вничью, а одну проиграли, получив в итоге почетное второе место.

Домой наша команда возвращалась через райцентр. По пути завезли меня. Я не хотел оставаться, хотел ехать вместе со всеми, отметить удачу... Но я уже работал здесь и должен был остаться. Яшка Галицкий и Толик Шарипов откупорили бутылку водки, налили по полстакана себе, плеснули на доньшко мне.

- Нормально отыграл, - сказал Яшка.

- Игру сделал, - сказал Толик.

И мы выпили - втроем. Потом они уехали. А я остался, хотя душа моя уехала с ними вместе.

Однокурсники

ГУСАР

Самой яркой колоритной фигурой на нашем курсе был, конечно, Вовка Беев. Находясь в хорошем расположении духа, он, случалось, напевал вполголоса:

- Вла-а-димир Беев - кра-а-са-вец парень...

Надо сказать, пел он чистую правду. Вовка и впрямь был чертовски, вызывающе хорош. И хотя, как он сам гордо признавался, будучи, правда, под солидным градусом, что "прошел путь от рядового до старшего сержанта", ему бы лучше подошел мундир гусара. Тем более, и замашки у него были гусарские.

По Вовке сохли не только студентки, но и некоторые преподавательницы. Я сам был свидетелем того, как молоденькая аспирантка, принимавшая у нас экзамен по "Введению в литературоведение", буквально млела от восторга, слушая его невероятный феерический бред... Талант по этой части у него был поразительный. В колхозе, на сельхозработах, он буквально ошарашивал местных мужиков эрудицией. Вовка говорил так:

- Как утверждает древнегреческий писатель Данте в своем бессмертном романе "Гаргантюа и Пантагрюэль", нет ничего лучше, чем, сходяв по-крупному, употребить вместо бумажки недавно вылупившегося цыпленка. Нет, мужики, вы чувствуете - какой кайф!

Мужики крутили головами, кричали, иные плевались, но никто не уходил - было интересно: а что еще скажет?

Однажды на студенческой вечеринке нам по обыкновению не хватило выпивки. За портвейном отправили Вовку и Толика Егорова - его для надежности, потому что он был полнейший Вовкиной противоположностью. В магазин они ворвались перед самым закрытием. Портвейн был (до печально известной антиалкогольной кампании оставалось еще лет десять), а вот продавщица, как водится, куда-то запропастилась... И когда Толик после бесплодных ее поисков вернулся в отдел, он застал такую картину.

Вовка, сидя прямо на прилавке, пил кофе. Рядом стояла сумка, полная бутылок.

- Тебя за смертью посылать, старый - недовольно сказал Вовка и тут же, без перехода:

- Мать, ну что за дела, я же просил пару пачек "казахстанских".

Не первой свежести продавщица, потерявшая дар речи, готова была зарыдать от того, что не в силах выполнить еще

один каприз красавица-мужчины... Но "казахстанских" у нее действительно не было.

- Ладно, - смилостивился Вовка, - завтра зайду. Пошли, Толян!

Разумеется, он не зашел ни завтра, ни послезавтра. Дело в том, что в это время Вовка был безумно влюблен. Увы, его избранница тоже была хороша собой, избалована и вила из него веревки. Но он был по-гусарски настойчив и добился своего. Они подали заявление.

Это радостное событие отмечали в ресторане. На мои деньги - будущие супруги переживали очередной финансовый кризис. Все было рассчитано чуть ли не по копейкам - и выпивка, и закуска, два-три рубля должно было остаться на такси. Но в самом конце торжественного ужина, обалдевший скорее от свалившегося на него долгожданного счастья, чем от весьма скромной выпивки, Вовка ухватил за накрахмаленный передник официантку, провозившую мимо нашего столика тележку со всякой снедью и потребовал... мороженого и фруктов. То и другое было выдано, причем, яблоки оказались отвратительно кислыми.

Когда официант принес счет, оказалось, что у нас не хватает трех рублей. От позора нас спасла невеста: когда ее пригласил танцевать щеголеватый грузин, она не отказала ему, как другим, и принесла желанные три рубля. Взамен грузину была обещана встреча на завтра.

В конце концов они поженились, но этот брак, увы, оказался непрочным. Наверное, для одной нормальной семьи их двоих было слишком много.

Вовка напоминал о себе и после окончания университета. Притом, подчас самым неожиданным образом...

Как-то получил письмо от однокурсницы, а в нем, кроме всего прочего, страшное известие: погиб Беев... Но никаких подробностей в письме не было.

Надо сказать, то были не лучшие времена у меня самого. Не особенно ладились дела на работе, полнейшая неясность с жильем, хотя я уже был отцом семейства. Словом, хандрил. Перечитав несколько раз горестные строки, обругал себя - у людей настоящее несчастье, а ты из-за какой-то ерунды сопли распускаешь... Подумаешь - квартира! Будет же когда-нибудь, а Вовки уже не будет...

Срочно заказал по межгороду редакцию городской газеты, где работала жена Беева и стал в ожидании звонка прикидывать, как бы поделкатнее расспросить ее о случившемся. Соединили на удивление быстро. Услышал в трубке щебечущий Людкин голос, и начали одолевать сомнения: что-то не похоже на убитую горем вдову...

- Ну, как ты там? - спрашиваю мрачно, не зная, как подступиться к главному.

- Да все в порядке, - отвечает бодро, - а ты как? У тебя что-то случилось?

- У меня-то все нормально, - говорю ей в такт и в душе ругаю себя последними словами за нерешительность.

- А чего звонишь - неужто соскучился?

- Что с Вовкой? - спрашиваю прямо в лоб.

- А что с ним делается, - удивляется она. - Работает...

- Но что-то же там у вас произошло? - не отступаю я.

Она, наконец, догадывается о причине моего звонка и рассказывает о том, что он "отчебучил" на этот раз. В их город приехал в командировку наш однокурсник. Встретившись, как водится, "посидели", посетовали на то, что нет рядом других университетских приятелей. А поскольку "посидели" крепко и желание увидеться с другими нарастало, отправились на почту и дали несколько телеграмм с идентичным текстом, извещавшим о трагической гибели одного из них и требовавшим срочного прибытия...

Уже на следующий день первый адресат прибыл в Алма-Ату из Киргизии. Разыскал другого приятеля. У них хватило ума позвонить на студию телевидения в тот город, где работал Беев. И когда он сам подошел к телефону, они, не успев порадоваться его счастливому воскрешению, по очереди сказали ему все, что о нем думают... Кое-кто, как потом стало известно, не имея возможности немедленно выехать, успел выпить за помин беевской души. Ну что ж, значит, долго будет жить - есть такая примета...

В последний раз мы виделись с Вовкой лет через десять после окончания университета. Явился он, как всегда, неожиданно - с шикарным букетом и изящной очаровательной блондинкой. Ему было уже под сорок, ей - около двадцати. Впрочем, последнее уточнение вряд ли существенно. Владимир Беев был по-прежнему красавец парень и легкая седина только добавляла ему шарма.

Обычная история. В одну из своих поездок в дальний район Вовка снимал для телевидения интервью зампреда райисполкома. Зампред балзаковского возраста пригласила Вовку поужинать, у нее он и заночевал... Как говорится, пустяки - дело житейское. Однако зампредша в результате оказалась беременной и вздумала рожать. И вот теперь Вовка не знает, что делать. Как честный человек он должен жениться на ней, но любит другую... Вот с ней и приехал - посоветоваться.

Изящная блондинка сидела с нами. Все слышала. И на своего кумира смотрела с обожанием.

Сашка высок, худощав, длиннорук. Он называет себя интеллигентом в седьмом поколении, но на всем его внешнем облике лежит печать разгильдяйства и жизненной неустроенности. В нем поразительным образом уживаются известная образованность и деликатность и заурядное хамство. А вообще он человек действия - не всегда разумного, но активного действия.

На втором курсе Сашка со своим дружкой после обмывки стипендии возвращались домой. Сашке показалось, что одна из телефонных будок стоит не на месте. Разумеется, они начали ее переставлять.

Переночевали в медвытрезвителе.

Через несколько дней Сашку прорабатывали на курсовом комсомольском собрании.

- Я понял, - сказал в ответном слове Сашка.

- Что ты понял, Митьков? - допытывалась комсорг.

- Что нельзя мешать пиво, водку и шампанское.

Сашка был отчислен из университета и проходил исправление по практиковавшейся в ту пору методе на строительстве студенческого городка. Впрочем, через несколько месяцев он вернулся на наш курс. Более того, благодаря связям получил блестящее распределение, о каком никто из нас и не помышлял, - сразу в республиканскую партийную газету.

Как и следовало ожидать, Сашка не "вписался" в состав чопорной, застегнутой на все пуговицы редакции - ей приглянулась не по нутру его неукротимая самобытная натура.

Сашка ушел в лесники.

При этом он преследовал две цели - во-первых, обрести желанную свободу, и, во-вторых, разбогатеть.

Этот новый крутой поворот в его судьбе закончился тюрьмой. По просьбе одного из своих многочисленных приятелей Сашка срубил для некоего трудового коллектива к новому году две сотни сосенок. На него кто-то настучал, вместе с сосенками Сашку и взяли.

Приятель с обещанным письмом-заявкой как в воду канул. А Сашка получил три года.

Правда, из тюрьмы родственники, включив все мыслимые и немыслимые рычаги, его все же вызволили, тем более что и вина его, как оказалось впоследствии, была не слишком велика...

"Пропустив в жизни два времени года" (это его собственное определение), Сашка чуть поутих. Но с мыслью разбогатеть не расстался. Его новой страстью стали пчелы. Сашка собрал две с половиной тысячи рублей, купил на них десяток ульев, несколько пчелиных семей...

С тех пор вся его жизнь была подчинена пчелам. Вот он звонит мне:

- Ты знаешь, в Алма-Ате клены зацвели...

- Поздравляю. Ну и что?

- Как что? - воспламенился Сашка. - Ты знаешь, какой с кленов взяток?

Погода с этих пор приобрела для него сугубо прикладное, безоттенковое значение. Хорошая - это когда пчелы активны. ("Старик, это фантастика, каждая семья тащит в час по килограмму - не меньше."). И плохая, когда пчелы в "простоях".

На зиму Сашка приволок ульи с гор в свою городскую квартиру. Он ведрами покупал для них сахар, держа при этом жену и дочь на голодном пайке... "Ничего, - говорил он им, - вы и без сахара обойдетесь, а мне нужна к весне сильная пчела. Сами спасибо скажете, когда я вас к осени медом залью..."

Сашка всерьез занялся проблемой скрещивания домашней пчелы с диким шмелем, надеясь к продуктивности первой добавить жизнестойкость второго...

Но произошло непоправимое. Жена травила на кухне тараканов. Их, правда, меньше стало, а все до единой пчелы передохли, хотя ульи стояли в другой комнате.

Сашка был безутешен. Какое-то время он находился в прострации. А потом решил, что к жизни его могут вернуть только женщины. Сначала он обзвонил едва ли не всех своих знакомых нужного пола, прямо предлагая им свои выдающиеся услуги по этой части. Более чем прохладное их отношение к такому предложению несколько озадачило Сашку. Он решил сменить тактику. Вскоре представился подходящий случай. Работая в журнале для слепых ("Старик, у тебя в лучшем случае читают каждую строчку, а у меня - каждую букровку общупывают!"), Сашка познакомился в командировке с женщиной - администратором провинциального театра музыкальной комедии. Он пустил в ход все свое недюжинное красноречие, но все было без толку. Тогда он добился, чтобы его перевели в соседний с ней гостиничный номер. Ночью, как только она, вернувшись после спектакля, улеглась, Сашка перебрался со своего балкона на ее... Она буквально окаменела от ужаса, увидев в темном проеме окна чей-то силуэт.

- Не бойтесь, - поспешил ее успокоить Сашка, - это я!

Уж тут-то она, конечно, не устояла.

... Недавно Сашка опять позвонил.

- Старик, ты не можешь помочь достать по дешевке колесный трактор?

- А что случилось?

- Да вот решил настоящим делом заняться. Взял в аренду гектар земли - шампиньоны буду выращивать. Ты знаешь,

шампиньоны по калорийности превосходят мясо, зимой на базаре килограмм идет по двадцать рублей. Старик, дело верное, хочешь - возьму в долю?

А что, может, стоит и мне попробовать? Когда-то же ему должно повезти.

ПРЕЗИДЕНТ, ИЛИ НЕРАСПОЗНАННЫЙ ТАЛАНТ

Он появился на нашем курсе где-то к середине университетского марафона. Стройный, смуглый, с хитроватыми раскосыми глазами и фантастически пышной шевелюрой. Но вспыхнувший было к нему интерес, вызванный скорее всего столь экзотической внешностью, скоро пропал. И то, что он много, часто без умолку, говорил, всегда намекая на какие-то особые обстоятельства, на какие-то полутаинственные связи, отнюдь не прибавляло ему авторитета. Скорее - наоборот. Как-то очень быстро за ним закрепилась репутация человека недалекого, ничего за душой не имеющего. Мы звали его - Пришелец.

И вдруг после летних каникул новость - как снег на голову: проходил практику в "Комсомольской правде". Это когда мы все прозябали кто в районках, кому повезло больше - в областных, и лишь единицы-счастливчики в республиканских газетах. Правда, никаких своих материалов, увидевших свет в "Комсомолке", он тоже не привез. Зато похвалился номером с автографами почти всех ее ведущих перьев.

О случившемся поговорили и стали забывать: ну, совершил вояж в столицу, покрутился в редакции, результатов-то, не считая автографов, никаких... А тут другая новость: руководителем диплома у нашего Пришельца не кто иной, как редактор республиканской партийной газеты, человек весьма крутого нрава - к нему даже его сотрудники предпочитали без особой нужды не заходить. Но у нашего однокурсника, видно, уже тогда появился какой-то особый талант, который никто из нас вовремя не распознал и не оценил.

Защитился он на "отлично". Однако неумолимое распределение расставило все по своим местам, и назначение Пришелец получил в соответствии с весьма посредственным содержанием своего дипломного вкладыша - в районную газету - в самую что ни на есть тьмутаракань.

Там он долго не задержался и через несколько месяцев вновь всплыл в Алма-Ате. Потом лет пять или шесть трудился в каких-то пресс-центрах, конторах, нигде больше полугода не задерживался, пропадая из виду и опять появляясь на горизонте. К нам в город он приезжал по "спецзаданию "Правды", якобы заказавшей ему очерк об одном из руководителей хозяйств. В течение нескольких дней он буквально терроризиро-

вал наше агропромовское начальство, требуя то немедленно соединить его по телефону с Москвой, то машину, чтобы ехать к будущему герою, то доставить в город его самого... Но названный им телефон почему-то все время не отвечал, а с будущим героем очерка он так и не встретился...

Потом Пришелец опять неожиданно пропал и так же неожиданно объявился - в ту пору, когда на волне перестройки начали, как грибы после дождя, плодиться многочисленные кооперативы. Он стал членом правления какой-то их республиканской ассоциации, возглавил рекламную кооперативную газету... Впрочем, это как всегда продолжалось недолго. Он снова исчез и с полгода о нем не было никаких вестей.

Вдруг звонок - межгород, Москва. Приятный женский голос:

- С вами будет говорить Президент Международного Фонда малых народностей и этнических меньшинств...

Сразу захотелось встать - еще ни разу в жизни не говорил с президентами. Успел только подумать: ошибка какая-то, наверное.

- Привет, старина! - послышался в трубке до боли знакомый баритон. - Как дышишь? Не нужно ли чем помочь?

- Привет, - неуверенно сказал я, - а что ты там делаешь?

- Да вот - избрали... Уйма дел - все надо раскручивать... На днях в Бразилию лечу...

Тут я окончательно поверил, что это он: таинственность, полунамеки и ничего невозможно понять... Однако справедливости ради надо сказать, что на этот раз я был удостоен реального номера телефона и мне было предложено звонить, если буду в столице.

Оказавшись в Москве - позвонил. Дня три никто не брал трубку, и я уже почти поверил в то, что стал жертвой розыгрыша, как мне неожиданно ответили. Нет, разумеется, не сам Президент - его помощник-секретарь. Строго осведомившись о том, кто я такой, по какому вопросу мне нужен Президент, и получив от меня сбивчивые объяснения (а в самом деле - зачем мне Президент, что я мог ответить?), после некоторых раздумий секретарь сказал:

- Ждите у телефона. Вам позвонят.

Минут через двадцать телефон зазвонил и жизнерадостный голос произнес:

- Привет, старина! Что делаешь в наших краях?

- Да вот, был по делам, сегодня уезжаю... Хорошо бы встретиться.

- Так-так, сейчас посмотрим, что у меня сегодня, - деловито

прозвучало в ответ, - в четыре часа - теннис, потом сауна, в шесть тридцать - бассейн...

Я сказал, что не настаиваю на своем предложении.

- Ладно, - решил он, - жди. Сейчас позвоню в Совмин - вызову машину.

... Пришелец ничуть не изменился. Он был все так же строен и смугл, но еще и подчеркнуто деловит. И, как всегда, ничего невозможно было понять из его таинственного с полунамеками и полуумолчаниями рассказа... Разумеется, я несколько не сомневался в благородности и огромной важности предпринимаемых им усилий по защите прав и интересов малых народностей и этнических меньшинств (а таковыми, как я понял из его объяснений, являются не только малые, вымирающие нации, но и, например, русские, проживающие в Африке или, наоборот, африканцы, решившие перебраться к нам на постоянное место жительства), но, по правде говоря, куда больше меня интересовал другой вопрос: как он попал в Президенты?

- Как обычно, - пожал он плечами, - избрали на альтернативной основе. Было четыре претендента: два зарубежных и два наших. Главным соперником оказался наш... Да ты его знаешь: бывший посол, затем секретарь ЦК КПСС...

Вероятно, лицо мое выражало в эту минуту крайнее изумление, потому что Президент сделал паузу и предложил:

- Хочешь - позвоню ему, прямо сейчас, отсюда. Мы с ним (прозвучала фамилия, от упоминания которой захватывало дух) теперь запросто...

Предложение позвонить звучало в ходе нашего недолгого разговора еще не раз, и мне стоило усилий отговорить Президента от этой затеи.

- Слушай, а может быть перетащить тебя к нам? - великодушно предложил он, - я недавно одного из наших сокурсников взял. Хотя с ним было проще - он, оказывается, мордва. А у тебя и отец, и мать русские? Да-а, жаль... Но давай подумаем, что можно сделать.

Я вежливо, но решительно отказался. Во-первых, я не знал, как мне надо теперь быть с моими родителями, а во-вторых, моя работа меня вполне устраивала.

Президент вручил мне на прощание шикарную визитку, удостоверяющую, что он действительно Президент, и даже проводил меня на аэровокзал - на попутной машине, которую мы вместе с ним поймали на улице.

С тех пор наши пути долго не пересекались, и я грешным делом думал о том, что созданный нашим Пришельцем Фонд приказал долго жить. Вдруг читаю заметку: в нашей республике создано отделение того самого Фонда и на его презентации присутствовал и выступил с речью Президент... "Вот тебе и

Пришелец, - с запоздалым раскаянием подумал я, - наверное, все-таки талант у человека - большой талант".

Захотелось узнать, как обстоят дела на благоприятном поприще защиты прав малых народностей и этнических меньшинств. Но по телефону, значившемуся на подаренной мне визитке, сварливо ответили, что "они съехали", а куда - неизвестно: телефона и адреса не оставили.

К счастью, Президент скоро сам объявился. Его очередной звонок настиг меня в гостинице, на этот раз в Алма-Ате.

- Куда пропал, старина? Что нового?

- Да я все там же, это ты пропал, - отвечал я, делая вид, что обиделся. - Ты откуда звонишь?

- Ты знаешь, пришлось переехать. Штаб-квартиру будем переводить в Испанию или в Италию. В Союзе, сам понимаешь, нестабильность, а это сказывается на репутации Фонда... А тут я отдыхаю: знаешь, бывший цековский санаторий, блок повышенной комфортности, трехкомнатный люкс... Пару недель отдохну - и в Австралию...

Жду звонка. Он обещал позвонить из Австралии или из Аргентины, куда тоже собирался.

ПОХОРОНЫ ЛЮБВИ

Он и Она. Студенты-первокурсники. Он - закомплексованный деревенский парень, и мысли не допускающий о том, что может всерьез понравиться девушке. Она - тоже из деревни и в глубине души верит в появление своего принца. Она черноглаза, черноволоса и хороша той неяркой, неброской внешностью, за которой подчас таится истинная красота.

И Он, и Она - натуры романтические, и это их быстро сближает. Но, впрочем, их отношения остаются чисто дружескими. При этом Он сгорает от любви, а Она понятия не имеет о чувствах, которые Его бушуют. Ей вполне хватает Его хорошего отношения к ней, а Он счастлив от возможности видеть Ее каждый день, от того, что их комнаты в общежитии расположены напротив, а уж тем более тогда, когда они оказываются рядом, за одним столом в университетской аудитории. А однажды Она Его даже поцеловала. И хотя это был дружеский поцелуй, в щеку, по поводу Его дня рождения, душа Его затрепетала: ведь это было первое прикосновение Ее губ. Он впервые увидел их так близко - чуть-чуть полноватые, четко очерченные. И еще, оказывается, на верхней, слегка приподнятой губке, были крохотные, едва заметные, темные усики... Отчего Она показалась Ему еще милее.

Так продолжалось несколько месяцев. Как-то весной Он и

Она оказались в одной студенческой компании, отправившейся на выходные в горы. День был чудесный - почти по-летнему теплый, места - изумительно красивые: по обеим сторонам дороги тянулись цветущие яблоневые сады, склоны гор розовели - то зацветал на них дикий урюк. Все вокруг радовало глаз, после дымного смрадного города легко, вольно дышалось. Все были беспечны и веселы. Он шел рядом с Ней, говорил о каких-то пустяках или просто молчал; иногда их плечи и руки соприкасались; случалось, Он подавал Ей руку, помогая перешагнуть горный ручей, перепрыгнуть с камня на камень, перебраться через упавшее дерево. И от всего этого, от того, что все вокруг было столь удивительно, неправдоподобно красиво, душа Его наполнилась тихой беспечной радостью.

К вечеру стали устраиваться на ночлег. Разбили палатку - одну на всех, разложили большой костер, вытащили из рюкзаков нехитрую магазинную снедь, купленные вскладчину бутылки портвейна...

И опять они оказались рядом, и Он чувствовал своим плечом Ее упругое плечо, и не столько сам ел, сколько следил за тем, чтобы Ее не обделили чем-нибудь за этим стремительно пустеющим столом. И Ему было хорошо от того, что Она брала все, что Он Ей подавал - ела азартно, с удовольствием.

На горы быстро спускалась темная южная ночь. Высыпали звезды - яркие и крупные. Снизу из ущелья тянуло прохладой и сыростью. Пора было устраиваться на ночлег.

Она ушла вместе с другими в палатку, а Он остался у костра, желая хоть немного продлить очарование этого удивительного дня, так много подарившего ему. "Смотри, останешься без места", - стали кричать из палатки. Он сгреб в кучку догорающие угли и пошел к остальным.

Место Ему досталось посреди всех - как раз напротив входа. И снова - о чудо! - они оказались бок о бок. И опять Он испытывал ни с чем не сравнимое блаженство - боясь пошевелиться, лежал не дыша.

Все долго не спали, говорили, смеялись, но усталость наконец сморила и самых неутомимых. Он не засыпал дольше других, потом все же стал забываться, как вдруг ему почудился шепот и странный задыхающийся звук. Сперва Он никак не мог понять, что это такое. Но звук повторился, и его уже ни с чем нельзя было спутать - это был звук долгого поцелуя. Целовались рядом с ним - с той стороны, где была Она. Он с холодной отчетливостью понял, что происходит, и Ему стало трудно дышать. Он пытался вздохнуть и не мог: Ему было больно и стыдно. Рядом продолжали целоваться, и Он был не в силах больше это переносить. Он разом, резко сел, и также сразу рядом повисла испуганная тишина.

Он вышел из палатки и пошел к едва тлеющему костру.

Скорее автоматически, чем осознанно, стал подкладывать в него тонкие прутики и легонько дуть. Когда костер снова занялся, Ему стало легче. Он понял, что должен делать. У Него был костер, и самое главное - дров хватит до утра. А еще есть чай, оставшийся после ужина в закопченном ведре.

Потом Он стал сам себе читать стихи и петь песни - все, какие знал, но утро все не наступало. И тогда Он стал рассказывать сам себе содержание книг, которые читал... А когда на еще темном небе начали проявляться очертания далеких горных вершин, Он тронулся в обратный путь. В оставленной им записке было всего три слова: "Я должен уйти".

Он шел быстро, не оборачиваясь, и рассвет застал Его почти на половине пути. Утро наступало серое, туманное, горы были угрюмы и сумрачны. Ночью кое-где прошел дождь, тропа местами раскисла, идти было неудобно... Потом Он долго ждал автобус на конечной остановке, а когда тот наконец приполз, Он всю обратную дорогу не мог унять противную мелкую дрожь в теле.

Уже в городе, по пути в общежитие, Он зашел в гастроном и купил на оставшуюся до стипендии пятерку бутылку вина, полбуханки хлеба, банку дешевых консервов.

Когда Он открыл своим ключом дверь, у Него немного отлегло от сердца - в комнате никого не оказалось. Сбросив отсыревшие грязные рифленки, Он наскоро умылся и присел к столу. Нарезал хлеб, открыл консервы, а когда взялся за бутылку, дверь распахнулась. На пороге стоял Алик, Его сосед по комнате. Он не хотел сейчас видеть никого, а тем более Алика - отношения у них были натянутые. Однако тот, заметив бутылку, радостно оживился и, потирая руки, быстро направился к столу.

- По какому поводу гуляем? Что за праздник?

- Праздник... - усмехнулся Он, - да нет, скорее похороны, - помолчал и добавил: - Вернее сказать - поминки.

Алик тут же сделал скорбную физиономию.

- А кто умер-то?

- Один человек - ты все равно не знаешь, - сказал Он и опять взялся за бутылку, - давай второй стакан.

В одной редакции

КАК Я БЫЛ ЛОМОНОСОВЫМ

После окончания университета я попал по распределению в редакцию областной газеты. Странная это была редакция. Все ее сотрудники, включая завхоза, имели визитные карточки, а по меньшей мере треть журналистов не имела жилья. В этих условиях я, успевший к этому времени обзавестись женой и ребенком, мог в лучшем случае рассчитывать на общежитие.

Выколачивать его взялся первый зам. редактора - П. А. П., как его у нас называли.

Наверное, в каждой редакции есть такой человек... Вот и яши ткнул неблагоприятный воз всевозможных хозяйственных хлопот, возился с практикантами, доставая дефициты (от входящих тогда в моду паласов до куриного помета на дачу нашему единственному персональному пенсионеру). П. А. П. был потрясающе неутомим в жизни и потрясающе непредсказуем. Закончив вскоре после войны высшую партийную школу при ЦК КПСС, он отказался от престижного кресла редактора газеты одной из автономных республик, решив вернуться на милый сердцу Алтай. То было время великих хрущевских реорганизаций, когда вместо районных газет стали создаваться объединенные. Одну из таких, рассчитанную сразу на пять районов, и возглавил П. А. П. И начал он с того, что, собрав всех бывших редакторов районов, без обиняков заявил им: они не только никудышные редактора, но и никудышные журналисты, а посему работа во вновь создаваемой газете - занятие не для них... Впрочем, и сам П. А. П. поруководил недолго: несколько месяцев спустя разошелся во мнениях с начальником местной милиции, в результате чего тот остался без двух зубов, а он без работы.

Дело и вовсе могло принять уголовный оборот, если бы П. А. П., не подхваченный единым порывом, захлестнувшим всю страну, не оказался на Целине. Правда, проявить до конца свои способности в главной газете Целины он просто не успел - Целинный край был расформирован за ненужностью творцом будущего застоя, а с ним почил в бозе и газета.

Так П. А. П. волею судеб оказался в нашей области, где и возглавил одну из многотиражек. Конечно же, рамки заводской газеты были тесны для его кипучей неукротимой натуры и как-то на журналистской летучке, оказавшись в кулуарах рядом с редактором областной газеты, он с вызовом спросил:

• Ну что, долго еще будете меня гноить в многотиражке?

Тот было опешил от такого нахальства, но будучи человеком воспитанным, все же осведомился: в чем, собственно, дело?

П. А. П. дал понять, что не прочь перейти на работу в областную газету.

- И в каком качестве? - не без ехидства спросил редактор.

- Да хоть уборщицей, - с присущей ему непосредственностью заявил П. А. П.

Ответ редактору настолько понравился, что уже через два дня в областной газете появился новый литраб. В отделе партийной жизни, к которому П. А. П. был прикреплен, он скоро развил такую бурную деятельность, что опасавшийся конкуренции заведующий выдвинул его на заведование другим отделом - сельскохозяйственным. Это была родная стихия П. А. П. - он опять оказался на коне. А тут кстати пришла пора первому заму отправляться на пенсию, и П. А. П. по праву занял этот пост.

Много лет спустя П. А. П. в задушевной беседе признавался мне: случившееся настолько потрясло его, что, просыпаясь ночами, он не уставал изумляться, спрашивал сам себя: "Твою мать, неужели это правда - я, Петька П. - первый зам?!"

Впрочем, надо отдать ему должное. Сделав столь головокружительную для провинции карьеру за каких-то два-три года, П. А. П. ничуть не изменился: он был все так же неутомим в жизни и непредсказуем в поступках. Для него не существовало авторитетов в привычном смысле слова... Вот ему звонит первый секретарь привилегированного хлебного района - недоволен критической публикацией. П. А. П. слушает, потом постепенно "заводится" и, наконец, исчерпав аргументы, выпаливает:

- Ну и что: вас, первых секретарей, в области двенадцать, а я один! - и кладет трубку.

Не слишком церемонился он и в обкоме партии... Идет очередной инструктаж в сельхозотделе: новый первый секретарь обкома поручил еженедельно публиковать сводки по всем видам сельскохозяйственных работ и сдаче всех видов продукции. Указание дурацкое: получается - надо давать по две-три сводки ежедневно. Но возразить первому никто из его ретивых помощников не осмелился, и теперь они "выкручивают руки" П. А. П.

- Кокчетавский вариант не пройдет! - заявляет П. А. П., и у завсельхозотделом отвисает челюсть (новый "первый" прибыл к нам из Кокчетава, где он буквально замордовал местных газетчиков публикацией этих самых сводок)... А эта фраза, кстати, стоила П. А. П. республиканской персональной пенсии. "Первому", конечно же, донесли о выходке строптивного зама, и он наотрез отказался подписать ходатайство в республику, когда П. А. П. после бессменной тринадцатилетней вахты на этом сумасшедшем посту, пережив трех редакторов, уходил на пенсию...

Впрочем, все это будет потом. А тогда, сразу после инструктажа, П. А. П. долго прорабатывали в родном отделе пропаганды и агитации. Но он и не подумал каяться, заявив напоследок:

- Все равно - газета выше обкома!

Две эти фразы надолго получили самое широкое хождение в редакции. "Кокчетавский вариант не пройдет!" - говорили мы друг другу, когда речь шла о безнадежном деле. А в трудные минуты, когда бывало уже нечего сказать, кто-нибудь произносил: "Ничего, все равно - газета выше обкома!" - и становилось хоть чуть-чуть легче...

Время, о котором я пишу, юмористы впоследствии окрестили расцветом застоя. Нетрудно представить, насколько не вписывалась неумемная натура П. А. П. в номенклатурную обойму, в коей ему полагалось по должности находиться. Если добавить к тому же, что ни многочисленные "разборки" в обкоме, ни собственный "боевой" опыт, ни предпенсионный возраст по сути ничему не научили П. А. П. и никак не меняли коренных свойств его характера, станет ясно, каково жилось ему и его подчиненным. К последним относился и я. П. А. П. заметил меня еще в практикантах, взяв под свою опеку - так что мне довелось полной мерой испытать и его отеческую (в прямом смысле) заботу и его деспотическую любовь. Он мог, к примеру, спустившись вечером со своего олимпа, зайти в наш тринадцатый кабинет и забрать меня к себе домой ночевать... А мог по пустячному поводу устроить выволочку. И обижаться на него было не то что не принято - неудобно: доброта и заботливость по отношению к другим всегда в нем преобладали над сумасбродством и непредсказуемостью. Зато его самого два последних свойства "вели" всю жизнь и в значительной степени творили его судьбу. Но это, впрочем, тема для отдельного разговора...

Итак, П. А. П. предстояло выбить для моей семьи комнату в общежитии. Он вызвал меня к себе и объяснил ситуацию: все крупные предприятия города обложены данью, в их общежитиях кто-нибудь из наших уже живет. Поэтому пойдем на химзавод, где директором у него давний знакомый: бывший главный инженер того завода, на котором П. А. П. был редактором многотиражки.

Завод, куда мы направились, был особым - суперсекретным. Никто из наших журналистов представления не имел о том, что он выпускает. Зато нашей газете (единственной в стране!) было дозволено упоминать о нем на своих страницах. Но не более того.

... С полчаса мы получали пропуски в заводоуправление, еще столько же прождали в приемной, пока наконец не попали в директорский кабинет. Кабинет был огромный, как футбольное поле. Стол директора располагался у противоположной от входа стены, в углу, и с каждым шагом по удруго-пружинящему диковинной расцветки коврику такла моя уверенность в успехе нашего предприятия...

Тут просто необходимо сделать еще одно отступление. Про-

работав в газете несколько лет и побывав на аудиенциях у порядочного количества начальников, я долгое время никак не мог понять - зачем им такие громадные кабинеты. Пока один из них, руководивший по меньшей мере лет тридцать, не раскрыл мне глаза.

- Зелен ты, братец, жизни не видел. А тут целая наука - философия, если хочешь знать... Вот ты представь: идет ко мне сотрудник или того хуже - посетитель... И к тому же настырный. Сперва его моя секретарша выдержит в приемной, как положено - у него смелости-то и поубавится. Разрешат ему войти. Он дверь открывает, думает, что за ней - кабинет, а за ней другая дверь... Тоже, знаешь ли, отрезвляюще действует... Так что пока войдет - от него половина прежнего останется... А тут еще кабинетнице - заблудиться можно, и до моего стола идти да идти... Пока ко мне доберется - считай готов, бери его голыми руками... А ты говоришь - зачем?

У меня сложилось впечатление, что сказано все это было на полном серьезе. И уж что-что, а душевное состояние воображаемого просителя откровенный начальник передал на удивление точно. В случае, о котором я рассказываю, размеры и роскошь директорского кабинета настолько подавляли, что, пока мы добрались до него самого, меня действительно можно было брать голыми руками. Сесть нам было предложено у приставного столика, жалким отростком лепившегося к массивному директорскому столу. Слева под рукой у директора уютно устроился еще один столик - с телефонами. Их было не меньше десятка.

- "ВЧ"? - уважительно спросил П. А. П., указав движением бровей в сторону одного из аппаратов - с гербом в центре циферблата.

Директор небрежно кивнул.

- Третий в области, - уточнил П. А. П. (разумеется, для меня). - Один у первого секретаря, второй у председателя облисполкома, а третий здесь. Снимаешь трубку и говоришь с секретарем ЦК...

Как я потом понял, таким образом он готовил плацдарм для будущего наступления: что может значить для обладателя такого телефона какая-то пустяковина - комната в общежитии. Не знаю, как на директора, а на меня "артподготовка" подействовала. "ВЧ" в моем сознании почему-то ассоциировался со следующей картиной: Великая Отечественная - командующий фронтом Жуков говорит по прямому проводу со Сталиным...

- Да, - вздохнул П. А. П., - это, конечно, уровень, - на такую орбиту вышел.

Директор поначалу благосклонно кивал, потом стал постукивать пальцами по своему полированному столу.

- Да, у нас, собственно, мелочь, - сориентировался П. А. П. и открыл принесенную с собой папку, - вот, редакция ходатайствует...

Директор мигом поймал ключевую строчку нашего прошения и благостное выражение с его лица как ветром сдуло.

- Ничем помочь не могу - своих селить некуда.

Иного я и не ожидал и погрузился в еще большее уныние...

П. А. П. пытался продолжать разговор, напирая то на уровень директора, которому должна приличествовать и широта натуры, то на благотворительность, которую проявляют в подобных случаях по отношению к редакции руководители других предприятий, то на их прежнее знакомство... Но ни лесть, ни уговоры, ни другие ухищрения на директора не действовали - это был крепкий орешек. Однако и наш, как оказалось, не лыком шит...

П. А. П. вдруг стремительно встал и, указав на меня пальцем, с обидой спросил директора:

- А вы хотя бы представляете себе, кто перед вами?

- Кто? - слегка смутился тот.

- А я вам скажу, раз так, - тоном, не предвещавшим ничего хорошего, сказал П. А. П. - Круглый сирота. Самородок. Целинник. В университет чуть ли не в лаптях пришел!

Я попытался издать некий протестующий возглас. Мои родители в ту пору были, к счастью, живы и здоровы, а поступать в университет я прилетел на самолете... Но П. А. П. на все это, похоже, было уже наплевать - его неудержимо несло.

- Молчи! - бросил он мне. - А вы слушайте! - Это директору.

- С отличием закончил, - рубил он фразу за фразой, - женился, ребенка родил, в газету пришел...

Я был готов сквозь землю провалиться - мне уже не нужна была комната, хотелось одного - как можно быстрее уйти отсюда.

А в голосе П. А. П. слышались уже трагические нотки:

- А может быть, это наш павлодарский Ломоносов? - вопрошал он, - вы что, талант хотите загубить?..

Не знаю уж, добила ли директора эта зажигательная речь или он просто не выдержал осады, но неприступность его сменилась чем-то резко-руководящим: "Надо посмотреть..."

Удивительно, но факт: спустя несколько дней я вселился в девятиметровую общежитскую конуру, "временно", в виде исключения, выделенную редакции". Чувство стыда куда-то улетучилось. Я был горд, что впервые в жизни обладаю лично мне выделенным жилищем. Я был готов достойно принять на свою жилплощадь жену и полугодовалого сына...

...Сын теперь девятиклассник. Недавно пришел из школы в растроенных чувствах: в классе его дразнят Ломоносовым.

- Успокойся, это у нас семейное, - сказал я.

Наши кабинеты были на одном этаже, и я часто становился свидетелем тому, как начинался трудовой день Семена Семеныча. Он являлся примерно в половине девятого и с достоинством шествовал к себе, в угловую комнату. Создавая Семена Семеныча, природа не пожалела материала, все у него было большим, основательным - и фигура, и черты лица, и руки. И даже портфель, с которым он, казалось, никогда не расставался, был не только самым большим в редакции, но и неизменно раздутым. И я всякий раз думал: что он там может носить во времена нашего всеобщего дефицита? Идя по коридору, Семен Семеныч заполнял собой едва ли не весь его проем, и если он двигался к тому же одетым, редким встречным приходилось протискиваться боком или сворачивать в попутные кабинеты, чтобы пропустить его.

Раздевшись, Семен Семеныч отправлялся в туалет для совершения утреннего моциона. Оттуда доносились сопение, сморкание и, наконец, жужжание бритвы. Этот ритуал почти никогда не нарушался... После чего Семен Семеныч возвращался к себе - и словно пропадал. Своих подчиненных (а он числился одним из руководителей газеты) он тревожил крайне редко, они ему тоже не докучали. Редактор, случалось, по нескольку дней не вспоминал о его существовании и лишь в нечастых случаях спохватывался: да у нас же есть Семен Семеныч!

Справедливости ради надо сказать, что ко мне Семен Семеныч почему-то благоволил и, хотя я не был в его прямом подчинении (меня курировал другой редакционный начальник), он иногда, вероятно, в знак особого расположения, подпитывал меня собственной житейской мудростью. Бывало, впрочем, - и сам жаловался мне на житейские невзгоды.

- Думаешь, хорошо быть руководителем? - сетовал он, - все идут и каждый что-нибудь просит: дай, Семен Семеныч, помоги, Семен Семеныч! А никто не пришел и не предложил: на, Семен Семеныч!

Я сочувственно кивал, и он, растроганный, переходил к воспитательной части разговора.

- Я вижу: ты все строчишь и строчишь... А зачем? Плохо кончишь. Нет, брат, я тебе скажу: до обеда надо работать, как в замедленном кино, а после обеда лучше вообще отдыхать...

Сам Семен Семеныч после обеда регулярно отдыхал, закрывшись изнутри в кабинете на ключ. Зайдя однажды к нему в этот неурочный час (он забыл запереться), я увидел его покоившимся на поставленных посреди кабинета буквой "Т" стульях. А укрылся он своим необъятным пальто... Зрелище было столь необычным, что я тут же поспешил ретироваться.

В числе очень немногих я был приобщен к святой святых -

творческой лаборатории Семен Семеныча. В командировки он ездил чрезвычайно редко - раз в год по несчастью, как у нас говорили. Зато с охотой ходил на всевозможные совещания и писал с них скучнейшие, зато идеологически девственные отчеты. При этом источников вдохновения у него было два: его собственный блокнот, записи в котором делались им всегда очень крупным, очень разборчивым и очень красивым почерком, и партийные газеты - республиканские и центральные. Придя с очередного собрания (пленума, конференции, семинара), Семен Семеныч вырезал из блокнота исписанные листки и, предварительно пронумеровав их, в нужном порядке наклеивал на большой, во весь стол, лист ватмана. Таким образом, половина дела была сделана. Для второй требовалось несколько "Правд" с руководящими статьями. Нужные места в них загодя были подчеркнуты цветными карандашами - в зависимости от назначения: общеполитические - красным, общеэкономические - синим, понравившиеся Семен Семенычу сравнения и обороты - зеленым. Эта вторая составная часть его творческого метода именовалась "рыбой". "Рыб" у Семен Семеныча было великое множество - на все случаи жизни. Старыми, порой полуистлевшими газетами был забит и завален не только его двухтумбовый письменный стол, но и специальные полки. Пропылившиеся папки с "рыбами" громоздились на подоконниках, на шкафу, в котором он держал свое пальто, на стульях и под ними...

Поручая изредка кому-нибудь из подчиненных написание того или иного материала, Семен Семеныч всегда выдвигал при этом железный аргумент.

- Да ты не бойся, справишься - я тут тебе "рыбу" приготовил.

Сам Семен Семеныч, как вы, вероятно, уже догадались, создавал свои вещи, списывая их с блокнотных листков, наклеенных на ватман, и разбавляя их по мере необходимости "аргументами", почерпнутыми из многочисленных "рыб". "Рыбой" у нас в редакции его и именовали - за глаза, разумеется.

Поскольку Семен Семеныч был человеком сверхосторожным, на его материалы никогда не бывало опровержений, как, впрочем, и вообще никогда никаких откликов. Может быть, их попросту никто и не читал? По правде говоря, газетное дело было настолько чуждо ему, что для всех нас оставалось загадкой - как он мог попасть в журналистику?

Все же, отдавая Семен Семенычу должное, надо сказать, что рыбой он был далеко не во всем. Когда на какой-нибудь редакционной гулянке Семен Семеныч брался за баян и своим красивым мощным баритоном заводил: "Лесорубы! Ничего вас не берет", - все непременно замолкали. Это был уже другой человек. Тут он был царь и Бог и парил над нами. Может быть, за эти, а может, за другие природные достоинства, скрытые от

постороннего глаза, его раньше примечали женщины. И мне до сих пор жутко любопытно: как он с ними знакомился, как затем развивались их отношения? "Во всяком случае, жалоб от них не поступало", - как-то не без юмора заметил Семен Семеныч и поведал мне о пикантном моменте одного из своих романов: "Говорю ей во время этого дела: как же, мол, так - у тебя муж есть, а ты со мной..." А она отвечает: "Не отвлекайся - и ему хватит".

Самого Семен Семеныча, судя по всему, "хватало" на многих. Как легенду, из уст в уста, рассказывают у нас в газете историю о том, как он с одним из своих приятелей развлекался... По утрам в студенческом общежитии они, встав против друг друга и заложив руки за спины, приподнимали и какое-то время держали на весу табуретку. Чем они ее приподнимали и на чем держали, надеюсь, понятно...

Выспорив в очередной раз бутылку водки, рекордсмены гордо удалялись. Женщины на подобные состязания, разумеется, не допускались, но конечно же, столь выдающаяся способность Семен Семеныча не могла быть для них тайной и проблем с "этим делом" у него не было.

...Теперь Семен Семеныч на пенсии. В редакцию заходит редко. Иногда я ловлю себя на мысли, что мне его очень недостает.

БЕРКУТОВ

Всегда удивляюсь тому, насколько извилистым бывает у людей путь в журналистику. Судьба Беркутова - тому подтверждение. Недоучившийся деревенский подросток (война помешала) - бригадир колхозной тракторной бригады - строитель-монтажник высокой квалификации... Вполне сложившийся почти сорокалетний мужик... Написал заметку с предложением что-то усовершенствовать. В редакции заинтересовались - отнесли редактору. Тот почему-то захотел посмотреть на автора и после беседы предложил ему написать еще что-нибудь... А спустя месяц Беркутов уже числился в корреспондентах.

Тогда, на излете хрущевской волны, газета еще кое-что позволяла себе, и Беркутов со своим крестьянско-пролетарским происхождением, некнижным знанием жизни, острой наблюдательностью пришелся ей как нельзя ко двору. Можно сказать так: была нужда в человеке, способном объясняться с читателем на его же, хотя и образном и самобытном, но простовато-грубоватом лексиконе.

Я застал Беркутова уже далеко не в лучшие его времена, но все еще помнили - какой это был орел. От одного его появления

трепетало не только совхозно-колхозное, но и районное начальство.

- С вашим братом-журналистом лучше не связываться, - выговаривал мне, молодому газетчику, уже немолодой председатель колхоза. - Беркутов как-то приехал... Я его полтора дня по полям возил, рассказывал, как мы безотвальную пахоту внедряем. И вроде довольным уехал... А дня через три читаю в областной газете статью под заголовком "Безотвальные болтуны". Разделал в пух и прах - нас с агрономом в районе года два только так и звали...

Секрет беркутовской популярности был довольно-таки прост: по причине глубокого знания деревенской жизни ему почти невозможно было втереть очки, а еще он не стеснялся в выражениях. И последнее читателям нравилось, особенно на фоне регулярно публикуемых целевых полос под шапкой "Человек шагает в коммунизм!"

Как-то Беркутов взял меня с собой в командировку - для натаски. Заехали в колхозную мастерскую, на машинный двор, где он, по моим представлениям, проявлял поразительную беспечность: почти ничего не спрашивал, вообще ничего не записывал... В конторе он минут десять рассеянно слушал взволнованный рассказ директора о прогрессивном поточно-узловом методе восстановления техники, потом решительным жестом остановил его монолог:

- Слушай, а может хватит о своих мнимых успехах... Лучше бы пообедать предложил...

Как я впоследствии узнал, этим своим излюбленным приемом Беркутов пользовался довольно часто. И небезуспешно. В этот раз минут десять спустя мы уже сидели в уютной комнате, спрятанной от постороннего взгляда в недрах колхозной столовой, за столом с запотевшей поллитрой.

- Ну вот, - ворчливо-добродушно резюмировал Беркутов, - давно бы так.

В высшей степени своеобразно протекал у Беркутова мыслительный процесс. Он ходил из кабинета в кабинет, рассказывая свои бесконечные байки, в которых правда и вымысел были настолько перемешаны, что нельзя было одно отделить от другого. Все это время он похихатывал, притопывал и прихлопывал, и люди, давно его знавшие, сразу догадывались: Беркутов рождает новый материал. И через день-два он в самом деле выдавал что-нибудь сногшибательное. Например, фельетон: "Куры в "Океане" или проблемную статью "На Иртыше ли Павлодар?"

А один свой материал, рассказывал мне Беркутов, он увидел во сне. Вот как это было. Беркутов примеривался к нему так и этак, перевел кучу бумаги, чего с ним отродясь не бывало, а тот все не давался. Пока, наконец, не приснился автору: уже

набранный, сверстаный, стоящий на полосе... И даже текст прочитывался. Беркутов проснулся, схватил ручку и тут же все записал.

Утром он пришел к ответсекретарю и попросил поставить свое новое произведение в номер, "на то самое место". Тот сперва послал его к черту, но услышав невероятную историю, сменил гнев на милость, и материал пошел в газету без всякой очереди.

В последние годы Беркутов, как мне кажется, значительно охладел к газетному делу. Может быть, устал, а может, разуверился в том, что это ремесло может хоть в чем-то усовершенствовать эту несовершенную действительность. Может быть, впрочем, он никогда всерьез к журналистике и не относился: работать системно, углубленно, мучиться над материалами он не любил. Его стихией были - порыв, импровизация, легкая фантазия, своеобразное видение мира... Некоторые собратья по перу до сих пор считают, что в нем умер настоящий писатель. И это тоже похоже на правду, хотя у меня сложилось впечатление, что самому Беркутову было на все это решительно наплевать... Тем более, что в конце журналистской карьеры его захватило новое увлечение, которому он посвящал не только все свободное, но и значительную часть рабочего времени.

Беркутов завел дачу. И сделал это отнюдь не из-за любви к сельской жизни, а чисто из прагматических соображений. На склоне лет он приобрел "Жигули", из-за чего залез в долги. Дача и должна была помочь ему рассчитаться с ними... Как-то позвал меня в гости, и я смог лично убедиться в том, что хозяин даром времени не терял. Списавшись за зиму с опытными станциями, садоводами, коллекционерами. Беркутов заполучил семена едва ли не всех сортов помидоров, какие только имелись в стране. Это была не дача, а какой-то испытательный полигон. Помидоры темно-красные и желтые, малиновые и фиолетовые, розоватые в какую-то полосочку; помидоры размером чуть ли не с горошину и с небольшую дыню; помидоры круглые и продолговатые, "бычье сердце" и "дульки"... Встречались грушевидные и чуть ли не пирамидообразные, не хватало разве что квадратных... Но Беркутов заметил, что и это не проблема: если поставить такую сверхзадачу - будут... Беркутовские помидоры созревали чуть ли не первыми в городе, и его жена торговала ими на рынке уже с середины лета, имея своих постоянных клиентов.

А Беркутов задался целью приобщить к дачному делу всю редакцию. Со мной он провел с десяток бесед, красочно расписывая все прелести дачной жизни: от гастрономических до сексуальных. Он находил мне выгодных продавцов, агитировал по телефону жену и мать, чтобы они повлияли на меня. И теперь, тоже став обладателем дачного участка, я жалею о том, что не послушал его раньше.

...Иногда Беркутов появляется в редакции - постаревший и

погрузивший, в огромных кирзовых сапогах. Мне почему-то всякий раз жаль его. Мне кажется, он обладал талантом, какой выпадает немногим. Обладал, но не смог им распорядиться, - как распорядился, к примеру, своей помидорной плантацией. Но, может быть, я и ошибаюсь. Ведь бывают в природе самородки, которые прекрасны именно своей первозданностью и которым не нужна никакая шлифовка...

"мы - пьяницы..."

Миша Клюев работал у нас фотокором. Над сельхозотдел и его фотолаборатория располагались напротив - через коридор. Миша был невысок, хорош собою - кудрав, черноволос, коммуникабелен. И хотя снимками секретариат он никогда не заваливал, зато не халтурил.

Мишина фотолаборатория служила чам прибежищем для выпивок. А поскольку проблем со спиртным в ту пору не было никаких, поводы находились очень быстро. И застукать нас было очень сложно. Если и заявится секретати замответсека - поинтересоваться насчет снимков, у Миши всегда дверь на замке и ответ готов:

- Проявляю!

И мы затаимся. А заслышав удаляющиеся шаги, покатываемся со смеху. И тот, чья очередь "принимать", непременно добавляет:

- Ну что ж, наливайте - теперь надо закрепить.

В то время нас, молодых, в редакции было немало, собирались мы и на холостяцкие пирушки. И Миша бывал с нами. После двух-трех стаканов портвейна он непременно звонил жене - доложить, что скоро будет. Но "скоро" не получалось, поэтому он звонил еще и еще...

У его жены был пунктик: она почему-то считала, что если Миша пьет, то обязательно с женщинами.

- Мариночка, какие могут быть женщины, - обиженно бубнил он в трубку, - я же пьяный...

- Правильно, Миша, мы не блядуны, а пьяницы, - всякий раз добавлял закоренелый холостяк пятидесятилетний корреспондент Дьяков и отбирал у него телефон.

Мы были молоды и беспечны и не считали эти пирушки каким-то грехом. Тем более, что мы умели останавливаться и делать дело. А Миша останавливался не всегда. По утрам он любил "поправляться" - чаще всего "дивзейкой" - спиртовым настоем какой-то травы в двенадцатиграммовых бутылках, которые он оптом закупал в аптеке.

Разумеется, Миша плохо повчил. Как-то их с приятелем, мирно выпивающих в городском сквере, застукать милиция.

Наверное, можно было бы договориться, но Миша неожиданно бросился бежать, швыряя на ходу под ноги преследующих его милиционеров оставшиеся бутылки с портвейном... Потом была бумага из вытрезвителя, и Мише пришлось уйти из газеты.

Он уехал на Дальний Восток и, устроившись на рыболовецкий сейнер, начал там новую жизнь. И когда года через два появился в редакции, мы его просто не узнали. Белозубый красавец в белом плаще, лакированных туфлях, с новеньким кейсом, которые тогда только входили в моду, казалось, сошел к нам с рекламного проспекта...

Как водится, вспомнили старое... Тем более у Миши "оказалось с собой"... И скоро он опять звонил жене:

- Мариночка, я скоро буду!

Нам было слышно, как хлопотала телефонная трубка, а Миша в ответ оправдывался:

- Какие бабы, Марина, я же пьяный...

- Ты прав, Ляля, мы пьяницы, а не... - произнесл свою коронную фразу закоренелый холостяк без пяти минут пенсионер Дьяков и, отобрав у него трубку, водружал ее на место...

...Повидав в своей жизни немало пьющих журналистов (любителей "этого дела" было куда больше, нежели трезвенников), я удивлялся и продолжаю удивляться одному: почему одни пьют едва ли не всю жизнь и не спиваются, а другие начинают деградировать очень быстро...

Понимаю, что у людей может быть разная степень привыкания к алкоголю и разная способность противостоять заболеванию, но у меня есть ощущение, что ломаются быстрее более искренние и менее защищенные, более совестливые и менее толстокожие... Во всяком случае, на моей памяти лишь один журналист сумел совершить обратный путь - от пьянства и деградации к абсолютной трезвости и творческому подъему.

...Я не знаю, где теперь Миша. В редакции он больше не появлялся. Я никогда не был в числе его близких приятелей, но во мне почему-то до сих пор живет неосознанное чувство вины перед ним.

ПАРАМОНЫЧ

Он встречает меня утром в редакционном вестибюле и с преувеличенным энтузиазмом жмет руку.

- Приве-ет!

Он в прекрасно отутюженном костюме, он свежесвыбрит, эlegantен и бодр. Это значит, что Парамоныч в очередной раз "завязал" и что он снова полон творческой энергии.

Одной рукой он цепко держит меня за рукав, а другой потрясает свежееиспеченной рукописью.

- Ты знаешь, я одну вещь сделал - как раз для вас. Пойдет, как из пушки. Ты только послушай...

Дело принимает серьезный оборот. Раз уж попался, главное - не дать втянуть себя в беседу.

- В другой раз, Парамоныч! Опаздываю! Давай материал - сам посмотрю.

Повезло - убежал. Однако надо читать. Так и есть: очередная ода общепитовцам из комбината общедоступной сети столовых и ресторанов, с честью выполнившим взятые на себя обязательства и тут же взявшим новые...

Парамоныч - злой гений нашей редакции. В отделах от него шарахаются, как черт от ладана, но он, увы, неутомим и всепроникающ, и мы несем его по жизни, как крест, вместе с его любимым общепитовцами.

Мы познакомились лет пятнадцать назад, когда я проходил преддипломную практику в газете, а он уже пребывал на заслуженном отдыхе. Парамоныч разъяренным тигром метался по крошечному кабинету и восклицал:

- Отлучить задумали! И кого! Меня! Ну нет! Им это даром не пройдет!

Лицо его пылало гневом, выражая крайнюю степень негодования. Как я потом узнал, по вине Парамоныча газета в очередной раз попала впросак, и новый редактор (сам большой оригинал) предложил отлучить его от редакции.

Но разве можно отлучить рыбу от воды, а птицу - от свободного полета! Того редактора и след простыл, а Парамоныч по-прежнему творит, особенно в промежутках между запоями.

Когда-то очень давно (так давно, что кроме Парамоныча этого никто не помнит) он был собкором республиканской партийной газеты. Можно только догадываться о том, какую по тем временам он имел власть, если возвращаясь навеселе из командировки, он имел обыкновение звонить домой кому-нибудь из секретарей обкома и заявлять:

- Ты завтра на работу можешь не выходить.

- А что такое? - удивлялся тот.

- Да ничего - я тебя увольняю.

И это сходило ему с рук до тех пор, пока он по ошибке не попал на нового "первого". Тот "шутки" не понял, позвонил редактору, и на этом собкоровская карьера Парамоныча была закончена.

Правда, об этой странице своей биографии Парамоныч распространяться не любит. Как, впрочем, и о выговоре "за обман партии", который он носил больше года. А дело было так. После очередного загула Парамоныча обсуждали на партбюро, где он клятвенно заверил, что больше - ни капли в рот... Но слово не сдержал и по настоянию секретаря партбюро - ортодокса ему впаяли выговор с такой формулировкой.

Рассказывают, когда секретарь горкома партии на бюро зачитал ее, у него глаза на лоб полезли. Но будучи человеком не лишенным чувства юмора, он решил позабавиться и, насупив брови, как можно суровей спросил:

- Ну, расскажи-расскажи, как ты ее, родимую, облапошил? ...Парамоныч был посрамлен. Но не настолько, чтобы совсем утратить вкус к жизни. Он и по сию пору в числе боевитейших наших пенсионеров-корреспондентов, за глаза именуемых пенькорами. Он подводил редакцию бессчетное количество раз, большинство его материалов вполне можно публиковать как остроумные пародии на материалы. Мы испробовали все возможные способы, чтобы отвадить его от редакции. Иногда нам даже казалось, что мы добились своего... Но в один прекрасный день Парамоныч возникал в вестибюле редакции, и все начиналось сызнова.

И вот я теперь думаю: а что, может, без таких, как он, наша жизнь была бы куда менее интересной.

СТРАННИК

Вокруг всякой провинциальной газеты обязательно вращается с десяток ее постоянных нештатных авторов. Никто их особенно не привечает, но их жизненные орбиты почему-то оказываются привязаны к газете, как центру мироздания. И они без нее уже не могут - как спутники без планет или сами планеты без солнца.

Таков наш Дмитрий Петрович.

Раза два в неделю его худощавая, слегка сутулая фигура неизменно возникает в редакционных коридорах. Летом он в обязательных сандалиях (часто на босу ногу), в темной рубашке, застегнутой до самого горла, и в соломенной шляпе. Зимой - в одном и том же длиннополом пальто, войлочных ботинках или валенках. И в любое время года обязательно с какой-нибудь книгой под мышкой.

- Здравствуйте, я пришел! - с порога объявляет он, и мы садимся играть в шахматы, если у меня есть время...

Никто точно не знает, сколько ему лет, где и как он живет. Дмитрий Петрович никогда никого к себе не приглашает. Он, как говаривали в старину, всегда в одной поре - во всяком случае незаметно, чтобы он старел. У меня лично такое ощущение, что Дмитрий Петрович был всегда, пока существовала газета. Шли годы, менялись редактора и поколения сотрудников, газета совершала головокружительные зигзиги, стремясь поспеть за генеральной идеологической линией... А он неизменно оставался верен своей газете.

Рассказывают, когда-то давно Дмитрий Петрович руково-

дил областной конторой "Сортсемовощ" и одновременно был собственным корреспондентом республиканского информационного агентства. Разумеется, ни одно, ни другое его республиканское начальство и не подозревало о совместительстве, а сам он его тоже не афишировал. Так продолжалось не один год, пока Дмитрий Петрович, к несчастью, не заболел и не перестал передавать свои заметки в агентство. На его розыски прибыл представитель из центра, и тайное стало явным.

Был жуткий скандал. С собкорством пришлось расстаться, но привязанность к газете осталась... Дмитрий Петрович уже лет двадцать на пенсии, но это не мешает ему писать лирические стихи на темы деревенской жизни, откликаться (как правило, в той же стихотворной форме) на важнейшие политические события. Он охотно переводит на русский язык стихи местных казахских и немецких поэтов. Он член областного литературного объединения, не пропускает ни одного заседания и его совершенно не смущает то обстоятельство, что среди новых членов объединения уже внуки тех, с кем он когда-то начинал свои литературные занятия.

А еще Дмитрий Петрович краевед и автор нескольких книг о природе и прошлом нашего края. Он регулярно поставляет редакции всевозможные истории типа "а вот еще был случай" - то о том, как орел чуть было не унес в когтях подростка, осмелившегося приблизиться к его гнезду; то о немом пастухе, ушедшем в пустыню от людей вместе со стадом любимых им верблюдов; то об обнаруженном им гигантском пне сосны, якобы росшей на берегу Иртыша и видимой со всех сторон за многие десятки километров... Историй этих великое множество и никогда нельзя понять, где в них правда, а где вымысел.

Думаю, ему несладко живется, но я ни разу не слышал, чтобы он когда-нибудь жаловался по этому поводу. Мне кажется, он давно перестал обращать внимание на внешнюю сторону бытия и просто странствует по жизни или живет в другом, им самим созданном мире.

Для меня он по сей день остается загадкой. Не могу сказать, чтобы скучал без него, но я всякий раз безотчетно радуюсь, заслышав знакомое:

- Здравствуйте, я пришел!

Блестки

Э то чувство возникает у меня всякий раз, когда я время от времени начинаю ворошить свои старые бумаги. В "отработанном" журналистском блокноте (где-нибудь прямо на обложке - чтобы позаметнее!) на обрывке замызганного тетрадного листа или потертой сигаретной пачки, на украшенной замысловатыми вензелями старой визитке нет-нет да встретишь короткую, сделанную второпях запись... За ней чем-то захватившая тебя когда-то житейская ситуация, картинка с натуры, понравившийся образ, а то и вовсе одна-единственная фраза.

Что-то теперь воспринимаешь равнодушно, уже не помнишь - зачем писал и по какому поводу, а что-то по-прежнему обжигает, рождает цепь воспоминаний, будоражит душу... И почти всякий раз охватывает досада: сколько слов отправлено в белый свет, а вот эти, куда более сочные, искренние, томятся взаперти. В "правильные" журналистские материалы они не вписались, поскольку не могли не нарушить привычный строй мысли, рассказами тоже не стали... Мне кажется, пришла пора выпустить их на волю. И я это делаю с неожиданным для самого себя волнением.

Я называю их "Блестки".

ЭРУДИТ

Одну из своих публичных речей в колхозном клубе Иван Секретарев (а выступал он практически на каждом собрании) начал так:

- Уважаемое аудиторное присутствие!

На собрании в очередной раз утверждали на должность старого председателя. Иван высказывался против и обосновал свою позицию:

- Да будь у него хоть семь пятен во лбу, я все равно скажу "нет": разве можно доверять колхоз человеку, который полностью атрофировался от коллектива.

В зале смешки, легкий шум. Уставшие от долгого сидения, надоевшей всем процедуры люди не прочь отвлечься... Однако председательствующий требует порядка, урезонивает Ивана:

- Не носи ахинею, а то лишу слова!

- Может, еще скажешь - галиматню, - парирует Иван и, перекрывая грохот в зале, громогласно заканчивает:

- Ну нет, теперь-то уж я точно в принцип встану!

УЛЬТИМАТУМ

Недавний выпускник зооветеринарного института, назначенный техником-осеменатором, через несколько недель самостоятельной работы приходит к председателю колхоза:

- Выбирайте в конце концов: или я - или бык!

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Осень. Начало уборки. Звонок из области в район.

- Почему хлеб не косите?

- Так зеленый еще...

- Это у вас настроения зеленые, - гремит начальственный бас.

Звонок из района в совхоз:

- Почему не косите?

- Так хлеб же зеленый...

- Это директор совхоза у вас зеленый, - неистовствует телефонная трубка.

Директор совхоза вызывает по рации бригадира:

- Когда косить начнете?

- Так зелень же...

- Это у тебя под носом зелень... Знаешь - как она называется? ...Интересно, что говорил после своим подчиненным бригадир?

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ

Заседает бюро обкома партии... На повестке дня вопрос вопросов - ход хлебозаготовок. Председательствует, вернее царит, "сам" - первый секретарь Семен Дмитриевич Кулагин. Семен Дмитриевич и вообще-то крут, а тут еще дела с выполнением плана хлебодачи идут неважно... Он мечет громы и молнии.

Другие члены бюро, сидящие с ним за одним столом, опасливо помалкивают. Провинившиеся директора совхозов, жалкой кучкой сгрудившиеся на стульях в части зала, предназначенной для приглашенных, втянули головы в плечи. Кто-то из них предназначен на заклание.

Метод Семена Дмитриевича в таких случаях хорошо отра-

ботан, он прост и доступен: надо найти наиболее злостного нарушителя партийной дисциплины, саботирующего "первую хлеборобскую заповедь", и примерно наказать - чтоб другим неповадно было. Способ многократно проверен, действует лучше всяких уговоров.

Жертва уже найдена: Дымченко, председатель одного из колхозов, при обсуждении вопроса осмелился заметить, что, может, и не стоит так спешить и везти хлеб на элеватор чуть ли не из-под комбайнов - погода стоит хорошая, можно еще успеть и очистить зерно, и подсушить...

- Ну да, ты умный, а мы тут все дураки, - следует любимый аргумент Семена Дмитриевича, за которым обычно им самим вносится предложение об оргвыводах. Предложений у него, как правило, три: объявить строгача, снять с должности, исключить из партии. Тут случай особый - попытка усомниться в неизбежности самой линии, покушение на святая святых - первую заповедь... Отсюда и мера наказания.

- Предлагаю исключить, - голос Семена Дмитриевича спокоен, будничен. Он знает, что его предложение будет принято, получит огласку и в следующий раз ослушников не окажется.

- Семен Дмитриевич, я хочу... - порывается что-то сказать директор-жертва.

- Потом, потом, - небрежно машет рукой "первый", не удаивая его взглядом. - Так. Кто против? Против нет. Кто воздержался?.. Все ясно - исключаем.

Семен Дмитриевич обводит усталым взором притихший зал заседания. Он доволен произведенным эффектом. Остается завершить спектакль - поставить последнюю точку. Семен Дмитриевич и это умеет. Глядя поверх голов, он рассеянно разрешает исключенному:

- Так что ты там хотел сказать, Дымченко?

- Я беспартийный, Семен Дмитриевич.

Кулачки медленно багровеет, ловит раскрытым ртом воздух, от его царственной вальяжности не остается и следа.

- Да что же ты, мать твою, молчал! - ревет он на весь зал.

Дымченко невозмутимо пожимает плечами. Директора совхозов, пряча улыбки, отворачивают головы.

Воспитательный момент испорчен. Начисто.

ИЗ ЖИЗНИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ

Знакомый председатель рассказывал:

- Прислали на уборку уполномоченного. В селе никогда не жил, в наших делах - ни в зуб ногой, но привязчивый, как репей, - все ему объясняй, показывай.

Поехали по полям. Объясняю: "Это у вас кукуруза - убираем

на силос". "Хорошая кукуруза", - соглашается. Гречиху показал, она еще цвела, запах медовый - и впрямь красота. "Хорошая гречиха", - констатирует. На бахчу заехали - пообедали, арбуз съели. Он вроде сосем отмяк: "И бахча хорошал..." И дернул же меня черт другим путем возвращаться - попали на забытый участок пара. Его за лето ни разу не обработали - везде бурьян в человеческий рост... Вижу, уполномоченный мой вроде подремывает - я и скорость сбросил, чтобы не потревожить... Нет, встрепенулся, холера: а это, мол, у вас что? "Да это у нас так", - только и нашелся что сказать. "Хороший так", - пробормотал он. А я аж взмок: ну, слава Богу, пронесло...

погуляли...

Пенсионер, бывший секретарь райисполкома, рассказывал мне о том, как он лишился должности. Они вместе с водителем предрика поехали в областной центр со спецпоручением: получить по доверенности в облисполкоме причитающиеся передовикам района правительственные награды и доставить их в райцентр...

Год был урожайным и хлебному району отвалили орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, три - "Знака почета" и десятка два медалей. Приняли все под роспись, попрощались... Можно было трогаться в обратный путь. Перед неблизкой дорогой решили подкрепиться в ресторане. А швейцар не пускает - мест нет. И у секретаря родился план: поскольку сам он ростом не вышел, пусть водитель, мужчина статный, представительный, наденет часть наград... Тот, поупиравшись, согласился. Не мелочась, выбрали по одному ордену всех видов, добавили к ним пару медалей.

Минуту спустя перед ними уже рассыпался в извинениях швейцар, по указанию администратора тащили откуда-то с кухни столик, мигом накрыли...

И посидели на славу... Но надо же случиться такому совпадению: в тот самый день возвращался из отпуска первый секретарь райкома партии. И тоже решил перед дальней дорогой перекусить в ресторане, где и "накрыл" орденосцев.

На следующий день состоялось бюро. С оргвыводами.

СИЛА ВОЛИ

Мне приходилось встречать немало волевых людей. И я знаю, что это качество в них проявляется по-разному. Один из моих знакомых, страстный путешественник, казался, задался

целью выяснить: а есть ли вообще предел человеческим возможностям?

С группой таких же, как он, энтузиастов сплавался на байдарках по Иртышу от самых его верховий до Оби, а по ней - до Ледовитого океана; проделывал зимой путь на лыжах от Усть-Каменогорска до Москвы и от Северной земли до Северного полюса - тоже своим ходом, на лыжах. Летом ходил пешком через пустыню... И он был глубоко убежден, что в критические минуты жизни, когда, казалось бы, все ресурсы организма исчерпаны, человек в состоянии преодолеть себя - усилием воли. Именно этим усилием, утверждал он, преодолевались иные участки пути в его многочисленных путешествиях.

Но поразительно другое. Не эти неоднократные преодоления собственных возможностей, а один-единственный случай из детства считает он самым главным проявлением силы воли в своей жизни.

Я постарался записать его рассказ почти дословно.

- Самое яркое и самое полное из ощущений, сохранившихся у меня с детства, - это ощущение голода. Тогда мало кто жил сытно, а наша семья, оставшаяся без отца, была вечно голодной. И это ощущение - всегда голодного, сохнувшего пустоту желудка, жило во мне ежечасно - я даже во сне хотел есть.

Понять это состояние может лишь тот, кто сам когда-нибудь долго, постоянно недоедал.

И вот как-то раз - мне было лет тринадцать - поехал с деревенскими мужиками разгружать баржу. И заработал сразу четвертак - старыми, конечно. С мужиками же зашел в какую-то забегаловку. Они пили водку и пиво, а я ел. Я ел так, будто хотел наесться не только за все то время, когда недоедал, но и на всю оставшуюся жизнь - впрок...

Конечно же, я объелся и меня стало тошнить. И мысль о том, что я вот так запросто могу лишиться того, чем столько лет был обделен, показалось мне настолько чудовищно несправедливой, что я чуть не заплакал. И сказал себе: ну нет, уж лучше пускай умру сытым, но удержу все это богатство в себе.

И удержал - не вырвал... Правда, с тех пор не переношу блинов с повидлом: я их тогда ел последними и умял штук двадцать - не меньше...

...Любопытно, что в еде этот мой знакомый очень умерен и к тому же весьма неприхотлив к ней.

НЕУМЕСТНЫЙ ОБРАЗ

Бывает в жизни так, что мозг рождает мысль, независимо от твоего желания. Порой от этого неудобно, неуютно, даже стыдно, но поделать ничего нельзя - внезапно родившись, мысль

продолжает жить помимо твоей воли, и ее уже ничем не вытравить из головы.

Пришел в больницу навестить близкого мне человека - молодую женщину. В прежний раз она, несмотря на то только что перенесенную сложную операцию, выглядела сносно и, казалось, уверенно шла на поправку. А теперь, спустя две недели, я был неприятно поражен произошедшими в ней переменами: изможденное лицо с запавшими глазами, истончавшие руки, прерывистое дыхание... Но более всего поразили скорбные губы с резко опущенными вниз уголками... Тогда и родилась, опережая все потом сказанное, мысль, вернее это была фраза - "печать смерти затаилась в этих опущенных уголках губ..."

Мы о чем-то говорили. Я пытался ободрить и успокоить ее, униженно ощущая свою полнейшую беспомощность, потому что в мозгу отпечаталась и продолжала звучать эта дурацкая фраза, этот такой ненужный сейчас образ.

Уходил я крайне расстроенный и недовольный собой. Мне казалось, что это я приговорил живого человека к смерти. Я гнал от себя этот втемяшившийся в голову образ и ничего не мог с собой поделать...

Когда утром следующего дня я позвонил в больницу, мне сказали, что женщина умерла.

Больше десяти лет прошло... А во мне продолжает жить ощущение неловкости и вины за ту так некстати родившуюся в больнице фразу. Мне кажется иногда, что не будь ее тогда, все могло сложиться иначе. Наверное, это глупо, но мне иногда так действительно кажется.

НОСТАЛЬГИЯ

Мой однокурсник, придя домой, застал отца слегка нетрезвым и в крайне расстроенных чувствах.

- Папа, что случилось? - спросил он, обуреваемый сыновней заботой.

- Толя, сынок, получил письмо с Дальнего Востока, - печально сказал отец, и глаза его увлажнились.

- И что, папа?

- Толя... Дожди! - признаю единственно это, отец заплакал уже настоящими слезами.

Наутро однокурсник рассказал мне о случившемся, и мы с ним от души посмеялись над этим милым чудачеством.

Теперь вот, спустя лет двадцать, думаю: зря смеялись.

Ведь это были не глупые пьяные слезы. Это была ностальгия. Печаль по оставленному много лет назад родному краю, где родился и вырос, где прошли лучшие годы, где все, как всегда (вот и дожди идут), и куда нельзя перенестись запросто.

И в этом весь непостижимый русский характер.

РЕАБИЛИТАЦИЯ

В одном из многочисленных лагерей печально известного КарЛага отбывал десятилетний срок талантливый агроном-садовод. До отсидки он был директором опытно-садоводческого хозяйства, успел защитить кандидатскую диссертацию. Непосредственным образом ему удалось уговорить начальника лагеря завести небольшое садово-огородное хозяйство.

Под него отвели несколько соток, обнесли колючей проволокой, зек-агроном вырыл себе землянку и месяцев восемь в году там и жил: снабжал лагерную администрацию свежими овощами, ягодами - малиной, смородиной, вишней, проводил какие-то опыты, что-то записывал...

Политикой он никогда не интересовался, случившееся считал чистейшим недоразумением, верил, что в его деле вот-вот разберутся, и он вернется домой, в Крым, в свое опытное хозяйство. Но год шел за годом, ничего не менялось, и он начал свыкаться со своим новым положением. К тому же он задался целью вывести засухоустойчивый сорт степной вишни и, кажется, что-то ему удавалось. Любимое дело спасало от тягостных мыслей в неволе, да и престо позволяло выжить.

В лагере к нему относились как к немножко помешанному - небрежно и снисходительно. Его и это устраивало - лишь бы не мучали. Когда его первый "законный" срок закончился, автоматически получил новую "пятерку". Он не удивился и не расстроился, ведь в его жизни ничего не изменилось, а цель - заветный сорт - все еще не была достигнута.

А однажды агронома пригласили к начальнику лагеря и тот сообщил о его полной реабилитации и вручил целый ворох денег - все заработанное за без малого пятнадцать лет... И эта будничность столь запоздалой реабилитации так потрясла его заледенелую душу, что в ту же ночь агроном попытался повеситься на единственном дереве, которое росло на его огороде - яблоньке. Но кто-то из охранников случайно оказался неподалеку, поднял шум и агронома спасли...

На родину он так и не вернулся. Оставшуюся жизнь доживал в Казахстане. Выпустил небольшую брошюру о своих опытах со степной засухоустойчивой вишней. Брошюра была замечена в Москве, специализированный ученый совет счел возможным на ее основе присвоить автору ученую степень доктора биологических наук. Без защиты диссертации.

ЛИЦО ЭПОХИ

Ее зовут Нина Павловна Аринина. Уже лет пять она ходит к нам в редакцию в поисках справедливости. Строители, прокладывая теплотрассу, "потревожили" ее ветхую избушку, после

чего жить в ней стало опасно. Аринина просит ее капитально отремонтировать, а строители уверяют, что они тут ни при чем, а все беды избушки от ее собственной старости.

Наша газета писала о ее истории трижды.

Аринина обошла все городское начальство, побывала на приеме у сменивших друг друга трех первых секретарей обкома партии, не одну свою пенсию потратила на обстоятельные телеграммы трем сменившим друг друга первым секретарям ЦК Компартии республики, обращалась к Генеральному секретарю ЦК КПСС и Президенту СССР... Результат неизменно был один: очередная комиссия выносила заключение, согласно которому избушка Арининой капитальному ремонту не подлежит из-за ветхости, а новое жилье ей не полагается, поскольку она уже является домовладелицей.

У Нины Павловны Арининой не осталось никого. Родителей она лишилась в детстве и воспитывалась в детдоме. Муж погиб на войне, братьев и сестер она скоронила, а детей у нее не было. Аринина завоевывала светлое будущее для потомков на лесоповале, в угольной шахте, на рыбацком промысле. Теперь у нее нет для этого сил, светлое будущее объявлено очередным заблуждением, а сама она решительно никому не нужна. Дни ее сочтены.

Когда я в очередной раз гляжу в ее заплаканные бесцветные глаза, мне кажется, что передо мной не глубоко несчастная пожилая женщина, которой я ничем не могу помочь, а вся наша измученная, истерзанная страна.

УСТУПКА

Мы знакомы лет пятнадцать. Года три не виделись, а Она все такая же хрупкая, свежая, девчонка-подросток. И как всегда в делах: пишет сценарии, снимает по ним фильмы, собирается в очередной раз в зарубежную командировку...

- Ну, а замуж когда?

Она не обижается - смеется.

- У меня теперь шансов много. Раньше дедушка наказывал: "Смотри - только за казаха!" Потом сделал уступку: "Пусть будет мусульманин..." Затем еще одну: "Выходи хотя бы за советского!" А буквально на днях заявил: "Пусть будет кто угодно, лишь бы не негр!" Думаю, к следующему приезду получу полную свободу выбора...

НЕ УХОДИ, СКАЗКА!

Леха Колунаев - красавец мужчина. У него пышная кудрявая шевелюра, щегольские усы, широкая грудь, заросшая густым волосом. Ко всему прочему - и язык хорошо подвешен.

Девушки к нему сами липнут... Избранным он позволяет переночевать в своей холостяцкой квартире, ничего им, впрочем, на будущее не обещая.

...Вот одна из его новых подружек просыпается рядом с ним, бесшумно выскальзывает из-под одеяла, торопливо одевается, собирая разбросанные по комнате вещи.

Леха тоже проснулся, но лежит с закрытыми глазами, делая вид, что спит. Она начинает легонько тормошить его:

- Проснись, я ухожу...

Леха бормочет, как во сне, что-то нечленораздельное - "не хочет" просыпаться. Она трясет его за плечо, но результат прежний: Леха забыл, как ее звать, и попросту валяет дурака.

Она резко встает:

- Ну все - я пошла!

- Не уходи, сказка! - театрально-дурашливо восклицает Леха, когда она уже открывает дверь. А когда дверь закрывается, он поворачивается на другой бок и снова засыпает.

ПРИПЕЛ!

(История одного знакомства)

- Мы жили с ним в одном поселке, мельком встречались, но не были знакомы. Надо было наточить коньки, посоветовали - пойди к Василию. Пошла... А он вместо этого четыре часа играл мне на баяне и пел. Так познакомились, а потом поженились...

Других привораживают, а он меня припел!

ПРАВДА ЖИЗНИ

Бабы-соседки обсуждают своих мужей. И так выходит, что ни одного путевого: тот пьяница, тот неумеха, тот любитель сходить налево...

Вдовая немка Фрида, обычно в подобных разговорах не участвующая, неожиданно вставляет одну-единственную фразу:

- Лучше без хлеб, чем без мужик!

Бабы умолкают и быстро расходятся.

СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РОМАНА О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Когда-то им нравились даже недостатки друг друга, а теперь и достоинства раздражают... Между "когда-то" и "теперь" - их совместная жизнь. Вот о ней и надо рассказать.

ОБРАЗ ЛЮБИМОЙ

Друг отца, дядя Саша Агеев, звал жену - "моя опасна".

БЕСПЕЧНОСТЬ

Бабы, собравшись вечером посудачить, сочувствуют соседке:

- А твоего-то, Настена, опять под утро у Верки видели. Настена (она не выговаривает "ч") беззаботно машет рукой:
- А, серт с им, небось не сотрется...

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО РОМАНА ОДНОКУРСНИКА

Женщины начали оголяться, ибо наступила весна.

* * *

Я предложил своему спутнику выпить чаю, ибо со мной был чугунный чайник.

* * *

И жизнь вновь показалась отнюдь немаловажной.

ОДИНОЧЕСТВО

Зимний вечер. Пригородная электричка. Несколько припозднившихся пассажиров скучились на сиденьях, в центре пустого вагона. Холодно, неудобно, тоскливо. Все молчат.

Вдруг с визгом отодвигается дверь, и в вагон вваливается мужик - в унтах, шубе, мохнатой шапке, огромный - во весь проем... Решительно направляется к сидящим. У них и вовсе душа в пятки.

- Не возражаете, если посижу с вами, - утробно басит он и, не дожидаясь ответа, сконфуженно оправдывается: - А то сижу один на весь вагон - жутко...

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тетя Шура Горлова совсем уж было собралась помирать. Но преодолела хворь, встала на ноги. Сыну свое "неожиданное" выздоровление объяснила так:

- Как же я умру, если ничего вам не наказала - кому что достанется.

ХАРАКТЕР

Богатый сосед нанял тетю Веру Шарубину садить картошку. А когда она все сделала, вдвое урезал обговоренную плату. В ту же ночь (благо, она была лунной) тетя Вера картошку выкопала.

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ

Парень смолоду был мал ростом и получил обидную кличку - окуроч. Вырос, стал мужиком, детей завел - кличка осталась. Состарился, умер... Так и сжоронили - окурочком.

ЛЮБОВЬ

Когда дядя Коля Хухорев стал ухаживать за моей теткой Ниной, своей будущей женой, она топором поотрубала все каблочки на своих туфлях, чтобы не так заметна была их разница в росте.

Прекрасная получилась пара - до сих пор им многие завидуют.

В ГОСТЯХ

Молодой человек, желая произвести впечатление, в гостях разговаривает с собакой по-немецки. Хозяйка, мать пригласившей его девушки, простодушно советует:

- Да вы с ней лучше по-нашему, она иностранным языкам необученная.

ОБИДА

Прадед, муж моей прабабки по отцу, любил выпить, за что получил от нее презрительную кличку "алкогол". Во хмелю он бывал буен и как-то, взяв квашню с мучой, вышел на улицу и развеял ее по ветру.

Прабабушка пожаловалась околоточному (дело было до рево-

люции). Супруга привели в участок и всыпали ему 30 розог. Она уже жалела, что так вышло, и все пыталась взять мужа под руку, когда они шли домой. Он ее руку отталкивал и повизгивал:

- Иуда-хриstopродавец! Христа продала!

Так и не простил. До самой смерти поминал!

- Иуда-хриstopродавец! Христа продала!

БОГ - НЕ ЩЕПОЧКА

(Из рассказа матери)

- Мне от отца часто доставалось - и за дело, и просто так. Один раз, уже не помню по какому поводу, за столом вырвался: "Пап, ну ей-Богу!" А он меня выпорол. Я стерпела, потом спрашиваю: "За что?" - "А не божись, не подумав... Тебе Бог что, щепочка?"

Между прочим, в Бога он не верил.

УЧЕБА

Иван Кузьмин, мой двоюродный дядька по материнской линии, рассказывал, как дед Тимофей, материн отец, отучал его от курения.

- Я курить рано начал - лет в восемь. Тайком, конечно. Как-то сижу за сараем возле таганка, он дымит и я потихоньку дым пускаю, чтобы незаметно было. А дед Тимофей меня застукал... Весь зад оббил хворостиной...

Потом, я уже из армии пришел, родня собралась - гуляем. Тут дед заходит, а я с сигаретой. Как увидел его - у меня зад сразу заныл... Я одной рукой за зад, а другой - сигарету в пепельницу... А он сразу все понял, смеется: "Чего уж теперь, кури - раз куришь, анчихрист..."

НОВАТОР

Новый редактор был грубоват и прагматичен. Он поломал прежний распорядок дня, требовавший от сотрудников сидения на работе "от" и "до", отменил планерки и летучки, после чего провозгласил главную задачу, стоящую перед коллективом:

- Ваши задо-часы мне не нужны. Вы - пчелы, собирайте

иectar действительности, перерабатывайте и несите в редакционный улей - на полосу. Это и будет мед нашей жизни.

Всем сразу понравилось: образно, точно и очень понятно.

КРИТЕРИЙ

Один мой приятель, несостоявшийся поэт, смолоду подававший большие надежды, так определял суть настоящего творчества:

- Есть в стихах романтическая дурь - есть и поэзия. А нет ее - и поэзии нет.

ЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ

Детское ощущение счастья многогранно и многолико. Хорошо от того, что мать с утра затеяла блины; от того, что утро светлое и солнечное, а в открытое окно задувает ветер; от того, что вечером в совхозном клубе обещали новое кино...

Где оно, все это, куда подевалось мое легкое счастье? Теперь даже крупная удача не трогает, скорее тревожит, про себя думаешь: ну вот, повезло - теперь жди неприятностей.

СОН

Жене приснился сон. Умер один из наших сослуживцев. Он лежит в гробу, на диване в вестибюле редакции и, слегка приподнимаясь, пожимает руку каждому входящему.

Очень на него похоже.

ЦЕНТРИСТСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Богу молись, и черта не гневи.

ПОСЛЕ БАНИ

Идем с братом из бани. Напарились, вымылись, выпили по бутылке пива. Голова ясная, тело сухое, легкое... И еще одно, может быть, самое удивительное ощущение - как последний штрих: кожа отдельно, а майка отдельно - будто не соприкасаются.

Хорошо!

НАХОДЧИВОСТЬ

Пашке четыре года. Учим его различать и запоминать цвета. Основные он уже знает, но иногда путается, поэтому стараемся использовать любую возможность, чтобы он лучше ориентировался. Вот мимо нас важно проплывают синие "жигули".

- Паш, какого цвета машина?

Морщит лоб - забыл... Но тут же нашелся:

- Как небо!

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Мой друг женат на гречанке. Они живут душа в душу, имеют двоих детей. Последних друг воспитывает в духе уважения к родителям - отца они зовут исключительно на "вы". Много сил он уделяет просвещению детей, рассказывая об исторической родине их матери. И вот наконец первый блестящий результат. Вернувшись из школы, дочь радостно заявляет с порога:

- Папа! Я сегодня сказала на уроке: первыми на земле появились динозавры и греки, но греки все равно были раньше! Я все правильно сказала? Ты ведь так меня учил?

ИЗ ЖИЗНИ З. Т. НАБОЙЧЕНКО

Захар Тарасович происходил из запорожских казаков, чем ужасно гордился. Голову брил наголо, а усы наоборот носил невероятных размеров. Ходил в галифе и френче сталинского покроя - даже тогда, когда они совсем вышли из моды. И всегда и всюду за председателем колхоза следовал помощник, готовый выполнить любое председательское поручение.

...Послепраздничное утро. Набойченко с горем пополам провел утренний наряд и теперь мучается с похмелья головной болью.

- Мыкола, - обращается он к верному спутнику жизни.

- Га? - тот тоже украинец.

- У нас там от рябых быкив ничего не висталось?

- Та воткуда ж, Захар Тарасыч? - сокрушенно разводит руками помощник, - ти гроши давно уси...

Речь идет о деньгах, полученных за проданную с полгода назад пару колхозных быков, которые непонятно для каких надобностей были закреплены за председателем. Часть суммы Захар Тарасович оставил на "представительские" цели ("Для устричь уполномоченных и начальства", - доступно разъяснил

он помощнику, передавая ему ее для хранения). Но в экстренных случаях председатель не считал зазорным попользоваться запиской и для собственных нужд - обычно исключительно "для поправки".

Набойченко с шумом втягивает в себя воздух, шевелит вислыми усами:

- Так найди ж чого-нибудь, Мыкола, ну никакой ж мочи нема... Дома тэбэ ждать буду...

Спустя какое-то время Мыкола легкой рысцой устремляется к председательскому дому. Спрятанные за отворотом полушубка две бутылки водки, взятые в долг у продавщицы, греют ему душу. В темных сенях помощник, заслышав голос хозяйки, второпях сует бутылки в стоящую за дверью кадку ... Дело в том, что "председателева жинка" весьма критически относится к мужниной слабости по части спиртного. И помощник знает это - сам не раз попадал ей под горячую руку.

- Чого ты, Мыкола? - притворно удивляется Набойченко, когда тот появляется на пороге.

- Та с райкома звонили, Захар Тарасыч...

- И шо? - по инерции спрашивает Набойченко.

- Та за работу хвалить...

- Га-а, - удовлетворенно тянет Набойченко и с укоризной глядит на жену: видишь, мол...

- А в чем это у тебя руки, Николай? - вдруг живо интересуется та, - ну-ка, ну-ка - к свету...

- А в чем, - не понимает Мыкола, - хотя рукава его полушубка чуть ли не по локоть в муке - не заметил, как вымазал, пряча бутылки в кадку с мукой.

- Ах ты ж паразит, - жена председателя орлицей бросается в сени и тут же возвращается с вещественными доказательствами, - а ну геть из дому и чтоб ноги твоей тут не было!..

... "Поправляется" в этот день Захар Тарасыч исключительно огуречным рассолом.

Встречи с чудом

ОЧИЩЕНИЕ

Такое случается, наверное, с каждым... Бессонной ночью услышишь вдруг, что дождевики стучат по жесткой крыше вразнобой. Или заметишь свежим морозящим вечером, что луна нынче матовая, а влажные провода блестят, как натянутые струны.

Почувствуешь горько-свежий запах опавших листьев в осеннем лесу и ни с чем не сравнимый, до боли знакомый запах пыльного зерна у совхозного тока.

Такое случается, наверное, с каждым. И невольно остается в тайниках памяти, чтобы отозваться щемящей грустью или тихой радостью. И делает нас добрее к людям, лучше и чаще...

СИЛА ЖИЗНИ

В Баянауле красивые и своеобразные горы. Но самое удивительное здесь не они, а деревья, растущие прямо на камнях.

Каменные глыбы, как блины, пластами выходят из-под земли, наслаиваясь друг на друга; прямо на пластах неизвестно за что цепко держатся щупальца корневищ сосен, берез... Трудно дереву бороться с камнем, гнется оно, рвется вверх вкривь и вкось, изгибается, словно в танце, но камню не уступает: глыба трескается, появляются расщелины, за которые с удвоенной силой цепляются корни деревьев... Чтобы выжить, снова дробить камень, давать потомство.

К СЧАСТЬЮ

Ночь еще борется с остатками дневного тепла. Речка еле движется. Тихо... Лишь изредка плеснет, играя, рыба... По чуть колеблющейся яркой полоске лунного света плывет навстречу счастью влюбленный семнадцатилетний чудаки; ему просто пришло в голову проплыть ночью по лунной дорожке.

Течение упруго отталкивает пловца в сторону, словно напоминая, что эта линия недосыгаема, запретна в конце концов, но он настойчив, даже упрям; ведь сегодня его день, сегодня мальчишка имеет право на все, даже на то, чтобы пройти дорогой, которой, может быть, никто да него не ходил...

И он плывет, расплескивая лунный свет, и светится от этого

весь сам. Янтарный дождь щедро рассыпается по сторонам при каждом взмахе рук, вспыхивает на мгновение, гаснет и снова загорается...

А человек ничего этого не видит. Он просто счастлив этой ночью. Ему всего семнадцать...

МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ

Было тепло и тихо, как бывает ночами в наших местах только в середине лета. И дождь пошел незаметно, теплый, спокойный и очень редкий. Не было слышно привычного монотонного шелеста, только тишина становилась все ощутимее - в такие минуты невольно ждешь звука, который бы ее нарушил. И он пришел так же незаметно и тихо, как сам дождь: чуть слышный, но явственный - будто кто-то едва коснулся колокола. Казалось, мелодичный звон и родился только для того, чтобы коснуться уха и исчезнуть. Это первая капля дождя, скатившись с крыши, попала на пустое ведро, висящее вверх дном на заборе.

Странная и пока еще не волнующая нота родилась снова и звучала теперь громче, отчетливее. Не успев оборваться, зазвучала опять, тревожа и настораживая.

Звук был однотонный и печальный, похожий на перезвон маленьких колоколов. Он не раздражал, а только тревожил. Но это была еще не мелодия. Она пришла чуть позже просто и ненавязчиво - звуки были теперь разной силы и тональности. Так, случается, играют лишь для себя, словно задумавшись, не мешая другим.

Ветер слегка тронул листья клена, на дно ведра упали сразу несколько капель, и этот неожиданный аккорд оборвал грустную мелодию.

Потом она пришла снова, но это была уже другая мелодия, и слушать ее не хотелось.

БУРАН

Снег пошел часов в двенадцать дня - большими пушистыми хлопьями. Снег как снег, разве что небо было чуть темнее обычного. Потом посыпало гуще, снежинки неслись быстрее и скользили по земле, словно не успевая за нее зацепиться. Ничто еще не предвещало приближающегося бурана, но гнетущее состояние, не покидавшее меня, не проходило, а, напротив, усиливалось. Появилась даже мысль отказаться от командировки. Но тут подошел автобус, как всегда переполненный. В нем

было тепло, даже по-домашнему уютно, и тревога как-то отодвинулась.

Автобус шел быстро. В лобовое стекло хорошо было видно, как струится по накатанной дороге поземка. Казалось, автобус мчится не по дороге, а по тонкому льду быстрой речки, льду совершенно прозрачному, такому прозрачному, что видно, как волокнистые струи воды стремятся вырваться наружу.

Иногда автобус останавливался. Одни пассажиры выходили, реже заходили другие, и тогда становилось заметно, как быстро набирает силу ветер, разом вырывая из салона тепло и кажущийся уют.

Водитель все чаще закуривал и все реже шутил. Ему лучше других было видно, как темнеет впереди и сливается с горизонтом небо. Быстро сгущались сумерки.

Солнце еще не село - его просто не было видно. Землю окутывал серо-белесый сумрак. Уже нельзя было различить кусты лесонасаждений сбоку дороги. За полчаса нам не попалось ни одной встречной машины. Стихли разговоры случайных попутчиков. Только мотор ревел по-прежнему ровно и мощно, но к его реву примешивался теперь грозный гул снежного месива.

Стало совсем темно. Это была не обыкновенная темнота, даже не темень, а густая и плотная серость, в которой терялись очертания предметов, растворялись и таяли звуки.

Шофер быстро включил фары и вынужден был через мгновение потушить их - два совсем слабых столбика света сразу уткнулись в светло-серую массу, словно запутались в ней.

Автобус уже не мчался, а полз наощупь, как уставшее животное, и скоро стал. Водитель сидел, по-прежнему наклонившись к стеклу, и напряженно всматривался в темноту, силясь рассмотреть что-то. Потом устало откинулся на спинку сидения.

Ехать было некуда.

Водитель твердо знал, что где-то рядом село, но как тут отыщешь этот злополучный поворот налево...

Несколько минут все оставались без движения, потом зашевелились: в салоне становилось прохладно.

Шофер открыл дверь, и мы, те, кто стоял впереди, спустились в белую круговерть.

Ветер, казалось, дул со всех сторон сразу: небо швыряло уже не снежинки, а мелкую ледяную крупу, от которой нельзя было укрыться. И все это месиво бесновалось, ревели, как разъяренный зверь, старалось свалить с ног, засыпать...

Но вот сквозь вой ветра отчетливо слышалось тарахтение совхозной электростанции. Новый звук разом оборвался, пропал в пространстве и снова возник.

Медленно, но упрямо автобус пополз вперед. Пассажиры

приникли к окнам - нельзя было пропустить поворот к совхозу... Проехать по селу все же не смогли. Машина завязала прямо посреди улицы.

Мне повезло - в автобусе оказался знакомый и пригласил меня к себе. Сто метров - не больше - нам нужно было пройти, а ветер, как оказалось (или это просто казалось), дул навстречу. Мы шли по улице и не видели ни домов, ни деревьев - только мутные пятна света из редких окон. По ним и ориентировались. Жесткий и колючий снег бил в лицо, выдавливая слезы. Казалось, кто-то с размаху хлещет по лицу голой веткой, методично и зло. Не помогали ни поднятые воротники, ни варежки, которыми мы прикрывали лица. Ветер насквозь продувал пальто, теплый свитер, и я чувствовал, как коченеют пальцы ног в шерстяных носках и теплых валенках.

Горе тому, кто окажется в такую непогоду в степи.

В дом не вошли, а ввалились не два человека - два снежных чучела. Кое-как сбили с себя снег, долго грелись у розовой, стреляющей искрами печки.

Буран ревел всю ночь, не утихая. Утром оказалось, что из дома нельзя выйти - открывавшуюся наружу дверь занесло снегом. Мне пришлось выставить окно в маленькой, промерзшей насквозь кладовой и лезть через него на улицу. С большим трудом откопал дверь, но лишь настолько, чтобы можно было протиснуться в узенькую щель.

Теперь нужно было помочь выбраться наружу соседям.

...Восемь дней одно и то же. Бьется о стекло одинокая обледенелая ветка клена в проеме единственного не занесенного снегом окна, то появляясь, то исчезая в белой пыли. Воет и свистит ветер, выдувая из дома тепло и натягивая холод, от которого не спасают ни теплая одежда, ни двойные одеяла...

...Раз в двое суток поездки на буровую за водой и путь на улицу через окно кладовой...

Восемь дней одно и то же. Берешь в руки книгу и через минуту оставляешь, берешь ручку и тут же бросаешь, потому что не можешь сосредоточиться. Самое страшное, когда ничего не можешь делать.

Иногда казалось, что буран вообще не кончится, что за окном нет ничего, кроме обледенелой промерзшей насквозь ветки, кроме белой снежной пыли; нет других звуков, кроме свиста и воя; не верилось, что где-то есть люди, которым приносят по утрам газеты, что когда-то снова будет тепло.

Не знаю, откуда у моих случайных хозяев - бухгалтера и учительницы начальных классов - взялся старый барометр. Он стал самым главным предметом в доме. Восемь дней он показывал одно и то же: к обеду стрелка, если постучать по стеклу, чуть двигалась к центру, а к вечеру снова падала вниз. Я ненавидел

его, этот барометр, и не верил, что когда-нибудь он сможет показать "ясно".

Я видел немало буранов. И по-своему даже любил бураны. Находил особую прелесть в прогулках в зимнее ненастье. Но все это потому, что рядом был родной дом, и когда я возвращался, милее казались и горячая печь и знакомая старая книжка.

Хорошо, если метель - за окном родного дома. Пусть ломится в стекло ветер и злобно швыряет пригоршни снега. Пусть. В доме от этого кажется только теплей и уютней. Зимнее ненастье, если ты дома, можно сравнить со сказкой в детстве: немного страшно, но мы знаем, что конец будет счастливым...

А тогда... Тогда я думал: если есть конец света, то это как раз нечто подобное происходящему на улице.

Лишь на девятые сутки, когда буран стал стихать, со случайной попутной машиной я вернулся в райцентр, где в ту пору работал. Никогда не питал к нему особых чувств, но в тот момент показалось, что нет ничего лучше заваленных снегом улиц, по которым прежде ходил равнодушно...

- Приехал? - строго спросил вместо приветствия хозяин-старик, у которого я снимал комнату. - Чтой-то долго был. Заходи... да ноги не забудь обмыть...

ДОРОГИ

Проселочные дороги появляются неожиданно и сразу - вместе с людскими заботами. Верно служат, пока нужны, и забываются, уступая место новым, большим и более удобным; они зарастают травой, стареют и умирают в одиночестве.

Проселочные дороги чем-то сродни первопроходцам. На их долю выпадает самое трудное и неожиданное. Они много знают, много помнят, они, и умирая, могут служить случайному путнику.

Я люблю их, эти полузабытые, ничего не говорящие случайному человеку проселки. Они дороги мне, как пожелтевшие старые книги, как верные друзья детства.

ОШИБКА

Как-то осенью в Алма-Ате зацвели яблони. Странно и непривычно было видеть рядом с желтеющими и уже пожухлыми листьями совсем маленькие и беззащитные розовые и белые бутоны.

Яблони хотели, наверное, пережить весну в одном году дважды. А это не всегда удается даже людям.

Маленьким бутонам было одиноко и неуютно холодными

осенними ночами, и они не понимали, что обречены на гибель.

А синоптики объяснили все очень просто: в Алма-Ате была на редкость теплая осень.

ИНЕЙ

Вечером упал туман. Сгладил очертания домов и деревьев. Яркие огни редких фонарей стали матово-бледными кругами и полукружьями. Потускнели звезды.

Всю ночь трудился туман, оседая на голые ветки деревьев, провода, окна домов, столбы.

А утром туман растаял, словно его и не было. Зато остались совсем седые деревья, пушистые провода, посеребренные крыши домов и столбы. На улице тихо и торжественно. Воздух свеж и прозрачен.

Но посмотришь на солнце - воздух искрится и переливается: то ветер сдувает с проводов и деревьев мельчайшие снежные иглы, еще недавно бывшие туманом. И странно - смотреть больно, а отвернуться не можешь.

ТОПОЛИНАЯ МЕТЕЛЬ

Невесомая пышная шаль липнет к заборам, укутывает калитки, прозрачным слоем стелется по земле... Мой трехлетний сын бежит по белым островкам, взметая за собой белый туман - так, наверное, можно бегать по облаку...

Пух, гонимый ветром, лезет в нос и в уши, серебрит волосы.

- Ну, чисто буран, - говорит мать, прикрывая ладонью глаза.

СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ

На совхозной улице переполох - скворцы прилетели. Сидят рядком на проводах, по-хозяйски орудуют в садах среди голых еще ветвей тополей и кленов, наполняя округу щебетаньем и шелканьем, трелями и пересвистом. Во всех дворах царит праздничное оживление: ребятя и взрослые шарят по кладовкам и чердакам, извлекая на свет божий скворечники... А то непорядок получается - хозяева прилетели, а квартиры не готовы...

Удивительный факт: никто не видит, когда именно и как прилетают скворцы. Просто однажды утром обнаруживается, что они прибыли, и теперь дело чести каждого двора встретить новоселов, как подобает. Очищаются от мусора и пыли старые скворечники, спешно готовятся новые, и вот уже то там, то здесь

поднимаются в небо шесты с разнокалиберными птичьими домами - выбирай, кому что нравится.

Соседям везет: дед Годун не успел как следует шест закрепить, а целых две семьи уже затеяли шумную ссору за право обладания жилищем... Чрезвычайно довольный этим обстоятельством, дед спешит к нам поделиться радостью: "Мой-то, вишь, заселился..." Достает кисет, степенно закуривает и поучает отца: "Ты бы, Митьк, развернул скворешню к востоку - птице, ей, вишь, наспротив солнца сподручней..."

Я жду, затаив дыхание: остаться без скворцов было бы в высшей степени несправедливо. И вот откуда-то сверху спикировал скворец и на крышу вывешенного нами домика. Мигом обследовал внутренности скворечника и, видно, остался доволен. На его призывный пересвист явилась козляка... Новоселье состоится. И душа полнится рвущейся через край радостью: на улице - весна, во всю греет солнце, скворцы прилетели...

ОГЛАВЛЕНИЕ

Там, где осталось детство	3
Такая долгая жизнь	4
Дед Тимофей и бабушка Акулина	10
В первый пар	12
Талисман	15
Кусочек счастья	15
Федя Попов	17
Как свинью резали	18
По ягоды	19
Пора сенокосная	23
Просто очень памятное	39
Последний матч	40
Однокурсники	43
Гусар	44
Любимец удачи	47
Президент, или нераспознанный талант	49
Похороны любви	52
В одной редакции	55
Как я был Ломоносовым	56
Рыба	61
Беркутов	63
"Мы - пьяницы..."	66
Парамоныч	67
Странник	69
Блестки	71
Встречи с чудом	87

Поминов Ю. Д.

Помню и люблю...

Сдано в набор 12.01.93 г. Подписано в печать 1.04.93 г.
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 5,58. Уч.-изд. л. 6,62.
Тираж 3000 экз. Заказ 262.

Издательско-полиграфическое предприятие "Жана-Арка", 1993 г.